



РЮНОСКЭ

АКУТАГАВА

ВОРОТА РАСЁМОН

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Рюноскэ Акутагава

Ворота Расёмон

«Издательство АСТ»

УДК 821.521-82
ББК 84(5Япо)я44

Акутагава Р.

Ворота Расёмон / Р. Акутагава — «Издательство АСТ»,
— (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-134307-1

В этот сборник вошли как принесшие Акутагаве мировую славу и автоматически ассоциирующиеся с его именем исторические рассказы и новеллы (включая легендарную «В чаше», послужившую основой для сценария бессмертного фильма «Расёмон» Куросавы), так и менее известные западному читателю, но почитающиеся на родине автора еще выше рассказы, действие которых происходит на фоне современной автору реальности Японии начала XX века, еще сохраняющей немало черт национального своеобразия, но жадно и стремительно «европеизирующейся». Отдельного упоминания заслуживают постоянно возникающие в творчестве Акутагавы реминисценции с классической русской литературой, которой он беспредельно восхищался и в которой наряду с родной историей нашел неисчерпаемый источник вдохновения. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.521-82
ББК 84(5Япо)я44

ISBN 978-5-17-134307-1

© Акутагава Р.
© Издательство АСТ

Содержание

Ворота Расёмон	6
Обезьяна	10
Носовой платок	14
Mensura Zoili	19
Счастье	22
Оиси Кураноскэ в один из своих дней	27
Рассказ о том, как отвалилась голова	34
Кэса и Морито	39
Муки ада	44
Учитель Мори	60
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Рюноскэ Акутагава

Ворота Расёмон (сборник)

Н. Фельдман, наследники, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Классик не только японской, но и мировой литературы, писатель, чье имя носит крупнейшая национальная литературная премия, величайший рассказчик и новеллист в истории японской прозы, один из самых экранизируемых японских авторов – вот лишь немного, что можно сказать об Акутагаве Рюноскэ, который прожил лишь 35 лет (1892 – 1927), но успел за этот краткий срок обессмертить свое имя навеки.

Ворота Расёмон

Это случилось однажды под вечер. Некий слуга переждал дождь под воротами Расёмон.

Под широкими воротами, кроме него, не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы переждать дождь несколько женщин и молодых людей в итимэгаса и момиэббси. Тем не менее, кроме слуги, не было никого.

Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трёх лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия – то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко.

Зато откуда-то собиралось несчётное множество ворон. Днём они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами адело зарёй, птицы выделялись на нём чётко, точно рассыпанные зёрна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот раз, должно быть из-за позднего часа, ни одной не было видно. Только на полуобрушенных каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая трава, кое-где белел высохший вороний помет. Слуга в застиранной синей одежде, усевшись на самой верхней, седьмой, ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирей, выскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь.

Автор написал выше: «Слуга переждал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать не «слуга переждал дождь», а «слуга, загнанный дождём под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная, куда деться». К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйанского слуги. Не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа Обезьяны, наконец перестал. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на всё рукой, прожить хоть завтрашний день, – другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, – не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судзаку.

Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршаньем. Сумерки опускали небо всё ниже, и, если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжёлые тёмные тучи.

Для того чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось, в сущности, одно – умереть от голода под забором или на улице. И потом труп принесут сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться... мысли слуги уже много раз, пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если»: хочешь не хочешь, остаётся одно – стать вором.

Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся.

Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надетом поверх жёлтой натальной безрукавки, слуга оглянулся кругом: он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку.

Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, какой-то человек, съежившись, как кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щеку. Ту самую, на которой среди короткой щетины алел гнойный прыщ. Слуга сначала пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на две-три ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажжённым светом, к тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый жёлтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста.

Неслышно, как ящерица, слуга наконец почти ползком добрался до верхней ступени. И затем, насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни.

В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов, но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то, сколько их тут, слуга не разобрал. Единственное, что хоть и смутно, но удавалось разглядеть, это – что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы, так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещённые тусклым светом, падавшим на выступающие части тела – плечи или груди, отчего тени во впадинах казались ещё черней, они молчали, как немые, вечным молчанием.

От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос: сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния.

Только в этот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хиноки. Держа в правой руке зажжённую сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины.

Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувствовал, что у него «кожа на голове пухнет». Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела, и, совсем как обезьяна, ищущая вшей у детёнышей, принялась волосок за волоском выдёргивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались её усилиям.

По мере того как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нём понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее, в нём с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь ещё раз предложил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот, – умереть голодной смертью или сделаться вором, – он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нём так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина.

Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдёргивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что ещё недавно сам подумывал сделаться вором.

И вот, напружинив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошёл к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.

Как только её взгляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.

– Стой! Куда? – рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Всё же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул её обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил её на пол. Руки её были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.

– Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!

И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднёс блестящий клинок к её глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчётливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нём злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:

– Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?

Старуха ещё шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на её тонкой шее двигается острый кадык. И из её горла до ушей слуги донёлся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:

– Рвала волосы... рвала волосы... это на парики.

Слуга был разочарован тем, что ответ старухи вопреки ожиданиям оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с лёгким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Всё ещё держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:

– Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушёную рыбу... Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым жила. А говорили, что сушёная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали её себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина – она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле, – она бы, наверно, меня не осудила.

Вот что рассказала старуха.

Слуга холодно слушал её рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щеке чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту,

в сущности, он был так далёк от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.

– Вот, значит, как? – насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришёл к концу. Потом шагнул вперёд и вдруг, отняв руку от чирея, схватил старуху за ворот и зарычал: – Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придётся умереть с голоду.

Слуга сорвал с неё кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.

Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мёртвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете ещё горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот – только чёрная глубокая ночь.

Слуга с тех пор исчез бесследно.

Апрель 1915 г.

Обезьяна

Дело было в то время, когда я, возвратившись из дальнего плавания, уже готов был проститься со званием «хангёку» (так на военных кораблях называют кадетов). Это произошло на третий день после того, как наш броненосец вошёл в порт Ёкбсука, часа в три дня. Как всегда, громко протрубил рожок, призывавший на переключку увольняемых на берег. Не успела у нас мелькнуть мысль: «Да ведь сегодня очередь сходить на берег правобортовым, а они уже выстроились на верхней палубе!» – как вдруг протрубили общий сбор. Общий сбор – дело нешуточное. Решительно ничего не понимая, мы бросились наверх, на бегу спрашивая друг друга, что случилось.

Когда все построились, помощник командира сказал нам так:

– За последнее время на нашем корабле появились случаи кражи. В частности, вчера, когда из города приходил часовщик, у кого-то пропали серебряные карманные часы. Поэтому сегодня мы произведём поголовный обыск команды, а также осмотрим личные вещи.

Вот что примерно он нам сказал. О случае с часовщиком я слышал впервые, но что у нас бывали покражи, это мы знали: у одного унтер-офицера и у двоих матросов пропали деньги.

Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеваться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что ещё лето, – стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, – и раздеваться не так уж страшно. Одна беда: у некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, двоих-троих офицеры побили.

Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска всё-таки нужно время. И странное же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с чёрными лицами и руками, – кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.

Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз – ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За всё время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Мákита, тоже кадет, как и я, нашёл украденные вещи. И часы и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нарасима. Там же нашёлся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.

Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого – «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радёшеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, – они чувствовали себя прямо счастливыми. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.

Я-то был ещё неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находятся, а виновник – нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причём в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли ещё живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.

Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так

волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!

Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго – так строго, что штатскому даже не понять, – соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация – великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.

Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:

- Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.
- Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, всё будет в порядке.
- Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим – удерёт.
- Пусть удирает. Обезьяна – она и есть обезьяна.

Так, перебрасываясь шутками, мы спускались вниз.

Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль – снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого – полученных в подарок, у кого – купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватили нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, – в общем, всё было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, её непустили. Один из них схватил её за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию – двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и ещё до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел её такую унылую – хоть обезьяна, а всё же жалко стало», – говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.

Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблёскивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, – прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена, и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.

Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всём теле. Оно – как бы это сказать? – было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьём в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и быстрее, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.

– Нарасима!

Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный – Нарасима.

Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, всё так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» – этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли – и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остаётся, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесётся, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и ещё более этим раздражённый, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.

Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы – вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слёз глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подёргивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо – его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение – его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом своё описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе – так сильно потрясло меня лицо матроса.

– Негодяй! Чего тебе тут надо? – сказал я.

И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» – я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчётливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».

Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало моё собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.

Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключённых там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключённых нет ничего. Помню у Достоевского в «Мёртвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остаётся лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, – веснушчатый, робкий, тихий человек...

Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошёл Макита и шутливо сказал:

– Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой.

Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.

– Нарасима – человек. Он не обезьяна, – ответил я резко и отошёл от борта.

Остальные, конечно, удивились: мы с Макита ещё в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.

Шагая по палубе от кормы к носу, я с тёплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, ещё презирали его – невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже тёмной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.

Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решёткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.

Сентябрь 1916 г.

Носовой платок

Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетёном кресле и читал «Драматургию» Стриндберга.

Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Драматургию», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как учёный, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»¹ и «Замыслы» Оскара Уайльда – книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.

Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в жёлтом холщовом переплёте на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому.

Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарём японской культуре. Профессор был убеждён, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришёл к заключению, что, кроме бусидо – этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно. И, возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим фонарём японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.

Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушённо покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принялся, было написано следующее:

¹ «Из глубины» (лат.).

«... Когда актёр находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический приём...»

Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попалось имя Байко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:

– Послушайте, кто такой этот – Байко?

– Байко? Байко – актёр театра Тэйкёку в Маруноүти. Сейчас он играет роль Мисао в десятом акте пьесы «Тайкёки», – вежливо ответил студент в дешёвеньких хакама.

Поэтому и о различных манерах игры, которые Стриндберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако так или иначе, интерес есть интерес.

С потолка веранды свисает ещё не зажжённый фонарь-гифу. А в плетёном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Драматургию» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходило после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод – значит намеренно стараться истолковать превратно чувства, с которыми я пишу... Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове, – чистым наслаждением профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами...

Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисияма Тёкуко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокоясь, оправляя на себе лёгкое кимоно из шёлкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идёт о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.

Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приёмную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в лёгкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из чёрного шёлкового газа, слегка прикрывавшее грудь, расходилось, виднелась нефритовая застёжка на поясе в форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в причёску «марумагэ» – это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолицая, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости – интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что её лицо он уже где-то видел.

– Хасэгава, – любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.

– Я мать Нисияма Конъитирó, – ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.

Нисияма Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стриндберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лёг в университетскую больницу; профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.

– А, Нисияма-кун... вот как! – Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: – Прошу.

Извинившись за неожиданный визит и вежливо поблагодарив, дама села на указанный ей стул. При этом она вынула из рукава что-то белое, видимо, носовой платок. Профессор сейчас же предложил ей лежавший на столе корейский веер и сел напротив.

– У вас прекрасная квартира.

Дама с преувеличенным вниманием обвела взглядом комнату.

– О нет, разве только просторная.

Профессор, привыкший к таким похвалам, пододвинул гостье холодный чай, только что принесённый горничной, и сейчас же перевёл разговор на сына гостьи.

– Как Нисияма-кун? Особых перемен в его состоянии нет?

– Н-нет...

Скромно сложив руки на коленях, дама умолкла на минуту, а потом тихо произнесла, – произнесла всё тем же спокойным, ровным тоном:

– Да я, собственно, и пришла из-за сына, с ним случилось несчастье. Он был многим вам обязан...

Профессор, полагая, что гостья не пьёт чай из застенчивости, решил, что лучше самому подать пример, чем назойливо, нудно угощать, и уже собирался поднести ко рту чашку чёрного чая. Но не успела чашка коснуться мягких усов, как слова дамы поразили профессора. Выпить чай или не выпить?.. Эта мысль на мгновение обеспокоила его совершенно независимо от мысли о смерти юноши. Но не держать же чашку у рта до бесконечности! Решившись, профессор залпом отпил полчашки, слегка нахмурился и сдавленным голосом проговорил:

– О, вот оно что!..

– ...и когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что вы очень заняты, я всё же взяла на себя смелость сообщить вам о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность...

– Нет, что вы...

Профессор поставил чашку, взял синий вощёный веер и с прискорбием произнёс:

– Вот оно что! Какое несчастье! И как раз в том возрасте, когда всё впереди... А я, не получая из больницы вестей, думал, что ему лучше... Когда же он скончался?

– Вчера был как раз седьмой день.

– В больнице?

– Да.

– Поистине неожиданно!

– Во всяком случае, всё было сделано, всё возможное, значит – остаётся только примириться с судьбой. И всё же, когда это случилось, – я нет-нет да и начинала роптать. Нехорошо.

Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у неё не было слёз. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на неё, можно было подумать, что разговор идёт о повседневных мелочах. Профессору это показалось странным.

...Очень давно, когда профессор учился в Берлине, скончался отец нынешнего кайзера, Вильгельм I. Профессор услышал об этом в своём любимом кафе, и, разумеется, известие не произвело на него особо сильного впечатления. С обычным своим энергичным видом, с тросточкой под мышкой он возвращался к себе в пансионат, и тут, едва только открылась дверь, как двое детей хозяйки бросились к нему на шею и громко расплакались. Это были девочка лет двенадцати в коричневой кофточке и девятилетний мальчик в коротких синих штанишках. Не понимая, в чём дело, профессор, горячо любивший детей, стал гладить светловолосые головки и ласково утешать их, приговаривая: «Ну в чём дело, что случилось?» Но дети не унимались. Наконец, всхлипывая, они проговорили: «Дедушка-император умер!»

Профессор удивился тому, что смерть главы государства оплакивают даже дети. Но это заставило его задуматься не только над отношениями между царствующим домом и народом. На Западе его, японца, приверженца бусидо, постоянно поражала непривычная для его восприятия импульсивность европейцев в выражении чувств. Смешанное чувство недоверия и симпатии, которое он в таких случаях испытывал, он до сих пор не мог забыть, даже если бы хотел. А теперь профессор сам удивлялся тому, что дама не плачет.

Однако за первым открытием немедленно последовало второе.

Это случилось, когда от воспоминаний об умершем юноше они перешли к мелочам повседневной жизни и вновь вернулись к воспоминаниям о нём. Вышло так, что бумажный веер, выскользнув из рук профессора, упал на паркетный пол. Разговор не был настолько напряжённым, чтобы его нельзя было на минуту прервать. Поэтому профессор нагнулся за веером. Он лежал под столиком, как раз возле спрятанных в туфли белых таби гости.

В эту секунду профессор случайно взглянул на колени дамы. На коленях лежали её руки, державшие носовой платок. Разумеется, само по себе это ещё не было открытием. Но тут профессор заметил, что руки у дамы сильно дрожат. Он заметил, что она, вероятно, силясь подавить волнение, обеими руками изо всех сил комкает платок, так что он чуть не рвётся. И, наконец, он заметил, что в тонких пальцах вышитые концы смятого шёлкового платочка подрагивают, словно от дуновения ветерка. Дама лицом улыбалась, на самом же деле всем существом своим рыдала.

Когда профессор поднял веер и выпрямился, на лице его было новое выражение: чрезвычайно сложное, в какой-то мере театрально преувеличенное выражение, которое складывалось из чувства почтительного смущения оттого, что он увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, и какого-то удовлетворения, проистекавшего из сознания этого чувства.

– Даже я, не имея детей, хорошо понимаю, как вам тяжело, – сказал профессор тихим, прочувствованным голосом, несколько напряжённо запрокинув голову, как будто он смотрел на что-то ослепляющее.

– Благодарю вас. Но теперь, как бы там ни было, это непоправимо.

Дама слегка наклонила голову. Ясное лицо было по-прежнему озарено спокойной улыбкой.

* * *

Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, затем поел вишен и опять удобно уселся в плетёное кресло на веранде.

В летние сумерки долго ещё держится слабый свет, и на просторной веранде с раскрытой настежь стеклянной дверью всё никак не темнело. Профессор давно уже сидел в полусумраке, положив ногу на ногу и прислонившись головой к спинке кресла, и рассеянно глядел на красные кисти фонаря-гифу. Книга Стриндберга снова была у него в руках, но, кажется, он не прочёл ни одной страницы. Вполне естественно. Мысли профессора всё ещё были полны героическим поведением госпожи Нисияма Токуко.

За ужином профессор подробно рассказал обо всём жене. Он похвалил поведение гостыи, назвав его бусидо японских женщин. Выслушав эту историю, жена, любившая Японию и японцев, не могла не отнестись к рассказу мужа с сочувствием. Профессор был доволен тем, что нашёл в жене увлечённую слушательницу. Теперь в сознании профессора на некоем этическом фоне вырисовывались уже три представления – жена, дама-гостыя и фонарь-гифу.

Профессор долго пребывал в такой счастливой задумчивости. Но вдруг ему вспомнилось, что его просили прислать статью для одного журнала. В этом журнале под рубрикой «Письма современному юношеству» публиковались взгляды различных авторитетов на вопросы морали. Использовать сегодняшний случай и сейчас же изложить и послать свои впечатления?.. При этой мысли профессор почесал голову.

В руке, которой профессор почесал голову, была книга. Вспомнив о книге, он раскрыл её на недочитанной странице, которая была заложена визитной карточкой. Как раз в эту минуту вошла горничная и зажгла над его головой фонарь-гифу, так что даже мелкую печать можно было читать без затруднения. Профессор рассеянно, в сущности, не собираясь читать, опустил глаза на страницу. Стриндберг писал:

«В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Это был приём двойной игры, заключающейся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»

Профессор опустил книгу на колени. Он оставил её раскрытой, и на странице всё ещё лежала карточка Нисияма Токуко. Но мысли профессора были заняты уже не этой дамой. И не женой, и не японской культурой. А чем-то ещё неясным, что грозило разрушить безмятежную гармонию его мира. Сценический приём, мимоходом высмеянный Стриндбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намёке, скрытом в прочитанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодушие разнеженного ванной профессора. Бусидо и этот приём...

Профессор недовольно покачал головой и стал снова смотреть вверх, на яркий свет разрисованного осенними травами фонаря-гифу.

Октябрь 1916 г.

Mensura Zoili

2

Я сижу за столом посреди пароходного салона, напротив какого-то странного человека.

Погодите! Я говорю – пароходный салон, но я в этом не уверен. Хотя море за окном и вся обстановка вызывают такое предположение, но я допускаю, что, может быть, это и обыкновенная комната. Нет, всё же это пароходный салон! Иначе бы так не качало. Я не Киносита Мокутаро и не могу определить с точностью до сантиметра высоту качки, но качка, во всяком случае, есть. Если вам кажется, что я вру, взгляните, как за окном то подымается, то опускается линия горизонта. Небо пасмурно, и по морю широко разлита зелёная муть, но та линия, где муть моря сливается с серыми облаками, качающейся хордой перерезывает круг иллюминатора. А те существа одного цвета с небом, что плавно пролетают среди мути, – это, вероятно, чайки.

Но возвращаюсь к странному человеку напротив меня. Сдвинув на нос сильные очки для близоруких, он со скучающим видом уставился в газету. У него густая борода, квадратный подбородок, и я, кажется, где-то видел его, но никак не могу вспомнить, где именно. По длинным, косматым волосам его можно было бы принять за писателя или художника. Однако с этим предположением не вяжется его коричневый пиджак.

Некоторое время я украдкой посматривал на этого человека и маленькими глотками пил из рюмки европейскую водку. Мне было скучно, заговорить с ним хотелось ужасно, но из-за его крайне нелюбезного вида я всё не решался.

Вдруг господин с квадратным подбородком вытянул ноги и произнёс, как будто подавляя зевоту:

– Скучно! – Затем, кинув на меня взгляд из-под очков, он опять принялся за газету. В эту минуту я был почти уверен, что где-то с ним встречался.

В салоне, кроме нас двоих, никого не было. Немного погодя этот странный человек опять произнёс:

– Ох, скучно! – На этот раз он бросил газету на стол и стал рассеянно смотреть, как я пью водку. Тогда я сказал:

– Не выпьете ли рюмочку?

– Благодарю... – Не отвечая ни «да», ни «нет», он слегка поклонился. – Ну и скука! Пока доедешь, прямо помрёшь.

Я согласился с ним.

– Пока мы ступим на землю Зоилии, пройдёт больше недели. Мне пароход надоел до отвращения.

– Как? Зоилии?

– Ну да, республики Зоилии.

– Разве есть такая страна – Зоилия?

– Признаюсь – удивлён! Вы не знаете Зоилии? Не ожидал. Не знаю, куда вы собрались ехать, но только этот пароход заходит в гавань Зоилии по обычному, старому маршруту.

Я смутился. В сущности, я не знал даже, зачем я на этом пароходе. А уж «Зоилия» – такого названия я никогда раньше не слышал.

– Вот как?..

– Ну разумеется! Зоилия – исстари знаменитая страна. Как вы знаете, Гомера осыпал отчаянными ругательствами один учёный именно из этой страны. До сих пор в столице Зоилии стоит прекрасная мемориальная доска в его честь.

Я был поражён эрудицией, которой никак не ожидал, судя по его виду.

² Мера Зоила (лат.).

– Значит, это очень древнее государство?

– О да, очень древнее! Если верить мифам, в этой стране сначала жили одни лягушки, но Афина-Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые утверждают, что голоса жителей Зоилии похожи на лягушечье кваканье. Впрочем, это не совсем достоверно. Кажется, в летописях самое раннее упоминание о Зоилии связано с героем, отвергавшим Гомера.

– Значит, теперь это довольно культурная страна?

– Разумеется. Например, университет в столице Зоилии, где собран цвет учёных, не уступает лучшим университетам мира. И в самом деле, такая вещь, как измеритель ценности, недавно изобретённый тамошними профессорами, слышит новейшим чудом света. Впрочем, я это говорю со слов «Вестника Зоилии».

– Что это такое – «измеритель ценности»?

– Буквально: аппарат для измерения ценности. Правда, он, кажется, применяется главным образом для измерения ценности романов или картин.

– Какой ценности?

– Главным образом – художественной. Правда, он может измерять и ценности другого рода. В Зоилии, в честь знаменитого предка, аппарат называли *mensura Zoili*.

– Вы его видели?

– Нет. Только на иллюстрации в «Вестнике Зоилии»... По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут книги или полотна. Рамы и переплёты немного мешают измерениям, но потом на них делают поправку, так что всё в порядке.

– Удобная вещь!

– Очень удобная. Так сказать, орудие культуры! – Человек с квадратным подбородком вынул из кармана папиросу и сунул в рот. – С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им – крышка. Ведь размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Весьма разумно поступил народ Зоилии, немедленно установив этот аппарат на таможнях.

– Это почему же?

– Потому что все рукописи и картины, которые ввозят из-за границы, проверяются на этом аппарате, и вещи, лишённые ценности, ввозить не разрешают. Говорят, недавно в одно и то же время проверяли вещи, привезённые из Японии, Англии, Германии, Австрии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии и других стран, и, по правде сказать, результат для японских вещей, кажется, получился неважный. А ведь на наш пристрастный взгляд в Японии есть писатели и художники как будто сносные...

Во время этого разговора дверь открылась, и в салон вошёл негр-бой с пачкой газет под мышкой. Это был проворный малый в лёгком тёмно-синем костюме. Бой молча положил газеты на стол и исчез за дверью.

Страхнув пепел с сигары, человек с квадратным подбородком развернул газету. Это и был так называемый «Вестник Зоилии», испещрённый строчками странных клинообразных знаков. Я опять изумился эрудиции этого человека, читавшего такой странный шрифт.

– По-прежнему только и пишут о *mensura Zoili*, – сказал он, пробегая глазами газету. – А, опубликована ценность рассказов, вышедших в Японии за прошлый месяц! И даже приложены отчёты инженеров-измерителей.

– Фамилия Кумэ встречается? – спросил я, обеспокоенный за товарища.

– Кумэ? Должно быть, рассказ «Серебряная монета»? Есть.

– Ну и как? Какова его ценность?

– Никуда не годится! Во-первых, импульсом к его написанию явилось открытие, что человеческая жизнь бессмысленна. А кроме того, всю вещь обесценивает этакий менторский тон всеведущего знатока.

Мне стало неприятно.

– Простите, весьма сожалею, – человек с квадратным подбородком насмешливо улыбнулся, – но ваша «Трубка» тоже упомянута.

– Что же пишут?

– Почти то же самое. Что в ней нет ничего, кроме общих мест.

– Гм!..

– И ещё вот что: «Этот молодой писатель чересчур плодовит...»

– Ой-ой!..

Я почувствовал себя более чем неприятно, пожалуй, даже глупо.

– Да не только вы – любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придётся туго: никакие надувательства тут не действуют. Сколько бы он сам своё произведение ни расхваливал, измеритель отмечает подлинную ценность, и всё идёт прахом. Разумеется, дружные похвалы приятелей тоже не могут изменить показания счётчика. Что ж, придётся вам засесть за работу и начать писать вещи, представляющие настоящую ценность!

– Но каким же образом устанавливают, что оценки измерителя правильны?

– Для этого достаточно положить на весы какой-нибудь шедевр. Положат «Жизнь» Мопассана – стрелка сейчас же показывает наивысшую ценность.

– И только?

– И только.

Я замолчал: мне показалось, что у моего собеседника голова не особенно приспособлена к теоретическому мышлению. Но у меня возник новый вопрос.

– Значит, вещи, созданные художниками Зоилии, тоже проверяют на измерителе?

– Это запрещено законом Зоилии.

– Почему?

– Пришлось запретить, потому что народ Зоилии на это не соглашается: Зоилия истари – республика. «Vox populi – vox dei»³ – это у них соблюдается буквально. – Человек с квадратным подбородком как-то странно улыбнулся. – Носятся слухи, что, когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность. Раз так, они оказались перед дилеммой: либо отрицать правильность измерителя, либо отрицать ценность своих произведений, а ни то, ни другое им не улыбалось. Но это только слухи.

В эту минуту пароход сильно качнуло, и человек с квадратным подбородком в мгновение ока скатился со стула. На него упал стол. Опрокинулась бутылка с водкой и рюмки. Слетели газеты. Исчез горизонт за окном. Треск разбитых тарелок, грохот опрокинутых стульев, шум обрушившейся на пароход волны. Крушение! Это крушение! Или извержение подводного вулкана...

Придя в себя, я увидел, что сижу в кабинете на кресле-качалке; оказывается, читая пьесу St. John Ervine «The critics»⁴, я вздремнул. И вообразил себя на пароходе, вероятно, потому, что качалка слегка покачивалась.

А человек с квадратным подбородком... иногда мне кажется, что это был Кумэ, иногда кажется, что не он. Так до сих пор и не знаю.

Январь 1917 г.

³ «Глас народа – глас божий» (лат.).

⁴ Сент Джон Эрвин, «Критики» (англ.).

Счастье

Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь неё всё, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киёмидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошёл бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем – редкое зрелище – проехала тележка с плетёным камышовым верхом, запряжённая рыжим быком. Всё это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.

Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:

– А на поклонение к Каннон-сама по-прежнему народ так и валит.

– Да! – ответил гончар несколько недовольно, может быть, оттого что был поглощён работой. Впрочем, в лице, да и во всём облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздёрнутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая помятая шапка момиеббси, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тоба.

– Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.

– Шутишь...

– Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах – дело нетрудное, было бы лишь за что! Та же торговля – только не с заказчиками, а с богами и буддами.

Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвёл взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под лёгким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшков и кувшинов, всё здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И казалось, даже ласточки и те из года в год выют свои гнёзда под кровлей этого дома...

Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:

– Дедушка, ты на своём веку много чего и видал и слышал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?

– Правда. В старину, слышал я, это часто бывало.

– Что бывало?

– Да коротко об этом не расскажешь. А начнёшь рассказывать – вашему брату оно и не любопытно.

– Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра...

– Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?

Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, – глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.

– Помышлений богов – этого вам в ваши годы не понять.

– Пожалуй, что не понять, так вот я и спросил, дедушка.

– Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают – счастье или злосчастье.

– Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?

– Вот этого-то вам как раз и не понять!

– А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.

Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно – подарок домашним.

– Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.

– Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!

Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.

– Не расскажешь, а, дедушка? – сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.

– Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот...

С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал своё повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день.

– Дело было лет тридцать-сорок тому назад. Эта женщина, тогда ещё девица, обратилась с молитвой к этой самой Каннон-сама в храме Киёмидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у неё как раз умерла мать, единственная её опора, и ей стало трудно сводить концы с концами, так что молилась она не зря.

Покойная её мать раньше была жрицей в храме Хакусюся и одно время пользовалась большой славой, но с тех пор, как разнёсся слух, что она знается с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке – что там лиса, и мужчина бы...

– Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери...

– Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме.

– Неужто она была так хороша?

– Да. Что нравом, что лицом – всем хороша. На мой взгляд, её не стыдно было бы показать где угодно.

– Жаль, что давно это было! – сказал подмастерье, одёргивая рукав своей полинялой синей куртки.

Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи.

– Двадцать один день она молилась в храме, и вот вечером в день окончания срока она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на неё и подействовало, потому что, даже когда её стало клонить ко сну, этот голос всё ещё неотвязно звучал у неё в ушах – точно под полом трещал сверчок... И вот этот звук вдруг перешёл в человеческую речь, и она услышала: «Когда ты пойдёшь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет!»

Ахнув, она проснулась, – бонза всё ещё усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил – она, как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчётно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Каннон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно: когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Каннон-сама.

– Вот так так!

– Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону к Годзё, как в самом деле кто-то сзади схватил её в объятия. Стоял тёплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось – как раз в ночь окончания срока молений!

Она спросила его имя – имени он не назвал. Спросила, откуда он, – не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу!» И, крепко обняв, тащил её за собой вниз по дороге, всё дальше и дальше.

Хоть плачь, хоть кричи, – пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было.

– Ну, а потом?

– Потом он втащил её в пагоду храма Ясакадэра, и там она провела ночь. Ну, а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем.

Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали ещё длиннее. Лёгкий ветерок сбил к порогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней.

– Да чего уж там! – сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку: – Что же, это всё?

– Будь это всё, не стоило бы и рассказывать. – Старик по-прежнему мял в руках горшок. – Когда рассвело, этот человек – должно быть, так уж судила ему судьба – сказал ей: «Будь моей женой!»

– Да ну?!

– Не будь у ней вещего сна – дело другое, ну а тут девушка подумала, что так угодно Каннон-сама, и потому утвердительно кивнула... Они для порядка обменялись чарками, и он со словами: «Это тебе для начала!» – вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок: десять кусков узорчатой ткани и десять кусков шёлка. Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!

Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Соловьи больше не пели.

– Вскоре этот человек сказал ей: «Вернись вечером!» – и торопливо куда-то ушёл. Осталась она одна, и тоска одолела её ещё пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у неё, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так, случайно, заглянула в глубь пагоды, – чего только там не было! Что парча или шелка! Там стояли бесчисленные ящики со всякими сокровищами – драгоценными камнями, золотым песком. От всего этого даже у храброй девушки ёкнуло сердце.

«Всяко бывает, но раз уж у него такие сокровища, сомнения нет. Он либо вор, либо разбойник!»

До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что ещё ждёт её впереди?

Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то её хрипло окликнул. Само собой, она испугалась, – ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит – какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагромождёнными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сторбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от неё ожидать, судя по её виду.

Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст своё намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живёт у этого человека в служанках. Но

стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Всё это девушку расстроило чуть не до слёз.

Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, уловив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.

Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шёлке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у неё замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И, чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придётся плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.

Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на её старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И всё же, должно быть, сказала разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шёлком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услышала уже потом – её труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутёмном углу, лицом вверх, точно она спала.

Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показались более населённые места, зашла к знакомому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шёлка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегчённо вздохнула.

– Да и я наконец успокоился!

Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ним и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их ещё тянулись по мостовой...

– Значит, на этом и делу конец?

– Однако, – старик покачал головой, – пока она сидела у знакомого, на улице вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в тёмное дело, у неё опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришёл рассчитывать с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.

– Да ну?

– Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окружённые зеваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.

Этот вор – уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзё? Когда она увидела его, её почему-то стали душить слёзы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у неё сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился...

– Н-да...

– Так вот, прежде чем помолиться Каннон-сама, надо подумать!

– Однако, дедушка, ведь она после этого всё-таки выбилась из бедности?

– Мало сказать «выбилась», она живёт теперь в полном достатке. А всё благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шёлк. Выходит, Каннон-сама сдержала своё обещание!

– Так разве нехорошо, что с ней всё это приключилось?

Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.

– Убить человека, стать женой вора... на это надо решиться...

Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.

– Как бы там ни было, а она счастливица.

– Куда уж!

– Разумеется! Да дедушка и сам так думает.

– Это я-то? Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.

– Вот как? А я бы с радостью взял.

– Ну так иди, поклонись Каннон-сама.

– Вот-вот. Завтра же засяду в храме!

Январь 1917 г.

Оиси Кураноскэ в один из своих дней

На плотно задвинутые сёдзи падал яркий солнечный свет, и тень старого вишнёвого дерева на несколько кэн – от правого края до левого – чётко, как на картине, выделялась на всём этом освещённом пространстве. Оиси Кураноскэ Ёсикацу, бывший вассал Асано Такумино ками, а ныне узник в доме князя Хосокава, сидел спиной к сёдзи, прямой, со скрещенными ногами, и не отрываясь читал. Это был, кажется, какой-то том «Троецарствия», который ему одолжил один из вассалов Хосокава.

Обычно в этой комнате находилось девять человек, но сейчас Катаока Гэнгоэмон вышел в отхожее место; Хаями Тодзаэмон отправился поболтать в нижнюю комнату и ещё не возвратился; остальные шестеро – Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Маса Кюдайю, Онодэра Дзюнай, Хорибэ Яхэй и Хадзама Кихэй, – как будто не замечая солнца, освещавшего сёдзи, были погружены в чтение или заняты писанием писем. И не потому ли, что они, все шестеро, были люди старые – каждому перевалило за пятьдесят, – в комнате, чуть тронутой весной, было зловеще тихо. Даже когда кто-нибудь покашливал, звук был не настолько силен, чтобы поколебать застоявшийся в комнате лёгкий запах туши.

Кураноскэ отвёл глаза от «Троецарствия» и, устремив взор куда-то вдаль, тихонько положил руки на стоявшее возле него хибати. В хибати, накрытом металлической сеткой, под тлеющими угольками поблёскивали, освещая пепел, красивые красные огоньки. Кураноскэ ощутил их тепло, и душу его охватило чувство спокойной удовлетворённости. Той самой удовлетворённости, которую в пятнадцатый день последнего месяца прошлого года, после отмщения за своего погибшего господина, когда они все ушли в храм Сэнгакудзи, он выразил в стихе:

Какая радость!
Рассеялись заботы.
Отдал я жизнь.
Ясна луна на небе,
Сошли с неё все тучи.

Как прожил он, сгорая от нетерпения и изощряясь в хитростях, эти долгие дни и месяцы, почти целых два года после того, как покинул замок Аки! Уже одно то, что приходилось терпеливо ждать, пока созреет случай, и при этом сдерживать пыл своих горячих товарищей, было совсем нелегко. К тому же за ним неотступно следил Сайсаку, подсланный домом его врага. Приходилось обманывать Сайсаку, маскируясь разгулом, и вместе с тем рассеивать подозрения друзей, которых этот разгул вводил в заблуждение. Он вспоминал про их прежние совещания в Ямасина и в Маруяма, и в его душу снова вернулось было тяжёлое чувство. Но всё пришло к тому, к чему шло.

Если что-либо и оставалось незавершённым, то это только приговор – приговор всем сорока семи. Но этот приговор, несомненно, не так уж далёк. Да. Всё пришло к тому, к чему шло. И дело не только в том, что свершён акт мести. Всё произошло в той форме, которая почти полностью отвечала его моральным требованиям. Он чувствовал не только удовлетворение от исполнения долга, но и удовлетворение от воплощения в жизнь высоконравственных начал. Думал ли он о цели мщения, думал ли о его средствах, его чувство удовлетворения не омрачал никакой укор совести. Могло ли для него существовать удовлетворение выше?

При этих словах морщины между сдвинутыми бровями Кураноскэ разгладились, и он обратился через хибати к Ёсида Тюдзаэмону, который тоже, по-видимому, устал читать и теперь чертил что-то пальцем у себя на коленях, на которые опустил книгу.

– Сегодня как будто очень тепло.

– Да... Когда вот так сидишь, то, должно быть, оттого что очень тепло, страшно хочется спать.

Кураноскэ усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли строки стихов, которые в день Нового года сложил Томимбри Скээмон после трёх чарок новогоднего вина:

Весна сегодня,
И даже самураю
Соснуть не стыдно.

И эти строки дышали такой же удовлетворённостью, какую он сейчас чувствовал.

– Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено.

– Да, пожалуй.

Тюдзаэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши.

– Мы ведь никак не думали, что сможем ещё проводить такие мирные дни.

– Да, мне и во сне не снилось, что я встречу ещё один Новый год.

– У меня всё время такое чувство, будто мы – настоящие счастливицы.

Оба с довольной улыбкой переглянулись.

Если бы в этот миг на сёдзи позади Кураноскэ не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул сёдзи, и вместо неё в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодзаэмона, быть может, Кураноскэ продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щёк, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзаэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания.

– Там, внизу, кажется, было весело?

С этими словами Тюдзаэмон снова затянулся трубкой.

– Сегодня дежурный – Дэнъэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там.

– Ну и правильно! Он всё боялся опоздать.

Поперхнувшись дымом, Тюдзаэмон грустно засмеялся. Онодэра Дзюнай, всё время что-то писавший, поднял голову, как будто о чём-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно, он писал письмо жене в Киото. Кураноскэ засмеялся, морща уголки глаз.

– Ну и что же? Было что-нибудь интересное?

– Нет, как всегда – одна болтовня. Правда, когда Тикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэнъэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого?.. Впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести.

– Кто бы мог подумать!

Тюдзаэмон недоумённо посмотрел на Тодзаэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завёл этот разговор.

– Нам рассказали о двух-трёх таких случаях. Один очень забавный – тот, что произошёл на улице Минатомати и Минами-Хаттёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Всё вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты и, когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина!»

Свой рассказ Тодзаэмон сопровождал жестами и хохотал.

– Но это же настоящее буйство!

– Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно: там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-мати и ещё где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?

Тодзаэмон и Тюдзаэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвёл на умы эдосцев подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Только Кураноскэ, приложив руку ко лбу, с недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворённости. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершённого ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно, его совесть никак не задевало. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод.

По правде говоря, он был несколько удивлён тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тюдзаэмоном и Тодзаэмоном, теперь посеяли в его душе, исполненной чувства удовлетворённости, семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворённости было приятным для него, приятным настолько, что – при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой – оно как-то утверждало и самый его поступок, и всё то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна.

Однако то, что Кураноскэ не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое: такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Кураноскэ так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Хориути Дэнъэмона – вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всём, сказал Тюдзаэмону что-то вроде – «я позову Дэнъэмона», тут же раздвинул фусума и направился вниз. И, по-прежнему улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Дэнъэмона.

– Спасибо, что потрудились зайти к нам, – улыбаясь при виде Дэнъэмона, сказал Тюдзаэмон.

Благодаря простому, прямому нраву Дэнъэмона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ним и его подопечными установились тёплые отношения, словно у старых друзей.

– Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашёл. Вот я и пришёл, хоть и помешал вам.

Усевшись, Дэнъэмон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвёл взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те, кто писал, один за другим поздоровались с ним. Кураноскэ также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хорибэ Яхэй, дремавший, как был в очках, над начатым томом «Тайхэйки», вежливо наклонил голову и спросонок уронил очки. Даже Хидзама Кихэй, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех.

– Видно, что и вы, Дэнъэмон-доно, не любите стариков, вот к нам и не заглядываете.

Кураноскэ сказал это мягким тоном, непохожим на свой обычный: вероятно, оттого, что, хотя он и расстроился немного, в его груди всё ещё разлито было прежнее тёплое чувство удовлетворения.

– Что вы, совсем нет! Просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился.

– Как я сейчас услышал, там у вас рассказывали о чём-то очень интересном, – вмешался Тюдзаэмон.

– О чём-то интересном? То есть?

– О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести, об этом именно... – сказал Тодзаэмон и с улыбкой взглянул на Дэнъэмона и Кураноскэ.

– Ах, об этом! Да, поистине странно устроен человек! Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики и те захотели вам подражать. Ещё неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представления дзёрури или там Кабуки, и то хорошо.

Разговор стал принимать неприятный для Кураноскэ оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и употребляя простонародные выражения попытался повернуть его в другую сторону.

– За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдаётся мне, что нам прежде всего должно быть стыдно. – Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал: – «Почему?» – спросите вы. А вот почему. В клане Ако самураев много, а видите вы перед собой одних только низших по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуно Сёгэн, но на полдороге он изменил своё решение и кончил тем, что вышел из нашего союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Сіндо Гэнсиро Кавáмура Дэмбэй, Кóмура Гэнюэмóн. По положению они выше Хáра Соэмóна. И ещё Сасáки Кодзаэмóн – он ниже Ёсида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были и мои родственники. Если всё это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно.

При этих словах Кураноскэ вся атмосфера – атмосфера весёлости, царившая в комнате, – исчезла, и сразу её место заступила серьёзность. Можно сказать, что разговор принял тот оборот, к которому Кураноскэ и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый.

Услышав эти слова, Тодзаэмон, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал:

– Вся эта компания – не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя.

– Правильно! А что касается Такада Гомбэя, то он ещё хуже скота.

Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, как бы ища у него одобрения. Вспыльчивый Яхэй, конечно, не промолчал:

– Когда мы тогда утром уходили, я подумал: если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только, – явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: «Желание ваше сбылось. Какая великая радость!»

– Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Оямáда Сёдзаэмóн, тот действительно хорош, – сказал, ни к кому особо не обращаясь, Мáса Кюдáйю, и тут принялись в один голос бранить отступников и Хáра Соэмóн и Онóдэра Дзюна́й. Даже молчаливый Хадзама Кихэй и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал своё согласие со всеми.

– Подумать только, в одном и том же клане столь верные вассалы, как вы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горожане и мужики – и те их ругают: собаки, дармоеды! Окóбаяси Мокунóскэ-дóно в прошлом году сделал себе харакири, и вот разнёсся слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, не исключено, что найдётся человек, который возьмёт да и убьёт их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости – значит действовать по-эдоски и что и вы с давних пор в гневе на них.

Дэнъэмон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбуждённые разговором Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Хаями Тодзаэмон и Хорибэ Яхэй, как

будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных вассалов и беспутных сыновей.

Среди всего этого только один человек, только Оиси Кураноскэ, положив руки на хибати, всё более и более мрачнел, всё меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибати задумчивого взгляда.

Перед ним раскрылось нечто новое: оборот, который он придал разговору, привёл к тому, что стали всё больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещение за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, своё сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтоб повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно. Поэтому он никогда не менял своего снисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. «Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между нами и ими не так уж велика». Кураноскэ, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдоских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Дэнъэмоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться ещё одной последней чертой.

Дэнъэмон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить своё преклонение, круто перевёл разговор на эту тему и произнёс целую речь, восхваляющую верность и преданность Кураноскэ.

– Как-то от одного сведущего человека я слышал, что в Китае один самурай, не помню, как его звали, так старательно выслеживал врага своего господина, что даже проглотил уголь, чтобы онеметь. Но по сравнению с тем, как Кураноскэ против всякого желания вёл разгульную жизнь, это не так уж трудно.

После такого предисловия Дэнъэмон начал длинно-длинно излагать всякие рассказы о том, что произошло год назад, когда Кураноскэ устраивал всевозможные кутежи; как тяжелы были ему, Кураноскэ, притворившемуся безумным, эти прогулки к красным клёнам в Такао и Атаго; как мучительны были ему, Кураноскэ, не щадившему себя ради осуществления планов мести, попойки в праздник цветущей вишни в Симабара и Гион.

– Как я слышал, в те дни в Киото даже распевали песенку: «Оиси не камень, он не твёрд, он лёгок, словно он бумажный»⁵. Чтобы так обмануть всех на свете, нужно большое искусство. Недавно сам Аmano Ядзаэмон и тот похвалил: «Вот это настоящее мужество». И это совершенно правильно.

– Что вы! Ничего особенного тут нет, – принуждённо отозвался Кураноскэ.

Его сдержанный ответ, по-видимому, не удовлетворил Дэнъэмона. Однако он увлеклся всё более и более. Поэтому он отвернулся от Кураноскэ, к которому до сих пор обращал свою речь, и, оборотившись к Онодэра Дзюнаю, с которым некогда долгое время служил в Киото, принялся ещё горячее выражать своё восхищение. Такая его чисто детская горячность была для Дзюнаю, пользовавшегося во всей их группе репутацией человека с большим опытом, смешна и в то же время трогательна. Он сам, в тон Дэнъэмоны, во всех подробностях рассказал,

⁵ Оиси – большой камень.

как Кураноскэ, с целью обмануть Сайсаку, подосланного домом его врага, в облачении монаха пробрался к Югири из Масаю.

Кураноскэ, такой серьёзный человек, сочинил даже песенку. Она стала очень модной. Не было публичного дома, где бы её не распевали. В ней говорилось, как Кураноскэ в чёрной рясе монаха, пьяный, шагает по осыпанному лепестками вишен Гиону. Да, нет ничего удивительного, что и песенка пошла в ход, и кутежи прославились. И Югири и Укихаси – все знаменитые куртизанки в Симабара и Сюмоку-мати, когда приходил Кураноскэ, не знали, как получше его принять.

Кураноскэ слушал рассказы Дзюная с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки сямисэна. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнай:

Оиси не камень,
Он не твёрд, он лёгок,
Словно он бумажный...

– вызывали в его душе пленительные, словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. Вспомнил, как он без всяких колебаний повёл эту разгульную жизнь – ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и привольем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством выполнения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым.

И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваления своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрёл, Кураноскэ сидел с самым мрачным видом. Получив ещё и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. В ней оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства всё шире и шире ложилась на его душу. Ведь и память о его подвиге отщепенца, о его товарищах и, в конце концов, о нём самом, вероятно, так и перейдёт в последующие времена в сопровождении столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибати, где уже остывали угольки, и стараясь не встречаться глазами с Дэнъэмоном, печально вздохнул.

* * *

Это было немного спустя. Оиси Кураноскэ, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сёдзи, по-прежнему слышались оживлённые голоса. Слушая эти голоса, Кураноскэ почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с лёгким ароматом сливы всё его существо охватило уныние, невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца.

Кураноскэ недвижно стоял, подняв глаза на эти твёрдые, холодные цветы, как будто врезанные в синее небо.

Сентябрь 1917 г.

Рассказ о том, как отвалилась голова

Начало

Хэ Сяо-эр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову!» – и в беспомощности вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилося в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяо-эр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздёрнул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяо-эра они донеслись, как во сне.

Высокий, выше человеческого роста, гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадей, ложился и вставал волнами. И справа и слева стебли то трепали косу Хэ Сяо-эра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи чёрную кровь. Но голова его неспособна была осознавать всё это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчётливостью стоял только один простой факт – зарезан. «Зарезан! Зарезан!» – твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади.

Хэ Сяо-эр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделённой от лагеря рекой, минут десять назад среди полей желтеющего гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяо-эр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно: вот враг. И может быть, ещё: убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись, как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц с оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки.

А дальше... Дальше представление о времени исчезло. Хэ Сяо-эр до странности ясно помнил, как качался, словно от порывов бури, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка и что и в какой последовательности произошло – этого он почти не помнил. Во всяком случае, всё это время Хэ Сяо-эр, громко выкрикивая как безумный что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота. И в то же время удивительно сохло во рту. Тут внезапно перед его лошадей вынырнуло искажённое лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезаящими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посередине фуражке с красным кантом видна была наголо обритая голова. Увидев его, Хэ Сяо-эр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме звук удара прозвенел отчётливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяо-эра и описал широкий круг... И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилося ему в шею.

* * *

Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяо-эром на спине бешено неслась вскачь по полям гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржание, лязг скрещивающихся шашек – всё уже затихло. Осеннее солнце в Ляодуне сияло так же, как в Японии.

Хэ Сяо-эр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нём выражалось более сложное ощущение: Хэ Сяо-эр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки – от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти.

Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того... Все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть: «Умираю, умираю!» – то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны – настолько раненый ослабел.

«Нет человека несчастней меня! Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня всё равно что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько ещё хотелось сделать. И я, который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, – какой же я дурак!»

Вот что выражали стоны Хэ Сяо-эра, пока он, вцепившись в шею коня, нёсся всё дальше и дальше по полям гаоляна. Время от времени то там, то сям вспархивали выводки перепуганных перепелов, но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь, с ключьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине.

Поэтому, если бы позволила судьба, Хэ Сяо-эр, неумолчно стелая и жалуясь небу на своё несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами гаоляна, судьба предстала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилась опавшая листва. Как только конь Хэ Сяо-эра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды.

В момент падения Хэ Сяо-эру почему-то привиделось в небе пылающее жёлтое пламя. Такое же ярко-жёлтое пламя, какое он в детстве видел дома, под большим котлом на кухне. «А огонь пылает!» – подумал он и тут же потерял сознание.

Продолжение

Совсем ли потерял сознание Хэ Сяо-эр, упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лёжа на пустынном берегу, выпачканный в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое глядят листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, какое он видел до сих пор. Словно смотришь снизу в огромную опрокинутую тёмно-синюю чашу. И на дне этой чаши откуда-то появлялись облачка, похожие

на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья ив.

Значит, Хэ Сяо-эр не совсем потерял сознание? Однако между его глазами и синим небом как тени проносились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребёнком он в радости и горе цеплялся за эту юбку! Но теперь, едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ, и сквозь неё, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков.

Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми, будто в ожидании сумерек. Хэ Сяо-эр искал взглядом среди этих полей себя и своих братьев. Но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули.

Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающееся. Присмотревшись, он понял, что это большой «драконов фонарь», с каким ходят по улицам в ночь на пятнадцатое января. В длину он был, пожалуй, около пяти-шести кэн. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. С зажжённой, несмотря на яркий день, свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, – удивительная вещь! – этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами... Пока Хэ Сяо-эр рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез.

Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее трёх сун. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ногти. В душе Хэ Сяо-эра вызвало печаль, лёгкую и смутную, как укусы блохи во сне, воспоминание о временах, когда он видел эти ножки. Если бы он мог коснуться их ещё раз!.. Но это, конечно, невозможно. Отсюда до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно слились с тенями в облаках.

Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ Сяо-эра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростёрлось огромное синее небо. Под этим небом, под лёгким веяньем ветерка люди вынуждены влачить своё жалкое существование. Как это грустно! И что он сам до сих пор не знал этой грусти – как это странно! Хэ Сяо-эр глубоко вздохнул.

В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронёсся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом. И так же стремительно исчез. Ах, и им, наверно, так же грустно, как и ему! Не будь они призраком, хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль. Но и это сейчас слишком поздно.

На глаза Хэ Сяо-эра всё время набегали слёзы. Какой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на неё глазами, полными слёз, – об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения. И самому хотелось всех простить.

«Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю своё прошлое», – плача, повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо, как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, всё ниже и ниже опускалось ему на грудь. В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало, – должно быть, звёзды, которые видно и днём. Прежние призраки уже не заслоняли неба. Хэ Сяо-эр ещё раз вздохнул и, с дрожащими губами, медленно закрыл глаза.

Конец

Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошёл год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе майор Кимура и только что приехавший из Японии инженер министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринуждённо беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе, иногда долетал чисто китайский аромат.

Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Ситайхоу, затем перешёл на воспоминания о японо-китайской войне, и тогда майор Кимура, видимо под влиянием какой-то мысли, вдруг встал и перенёс на стол подшивку газет «Шэньчжоу жибао», лежавшую в углу. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер немного оторопел от неожиданности: впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный. Поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так:

«Владелец парикмахерской на улице... некий Хэ Сяо-эр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время японо-китайской войны. Тем не менее после своего славного возвращения он вёл себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами; ...числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого: она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в японо-китайскую войну, причём, судя по рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатила по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, всё же, если в «Странных историях» Ляо Чжэя повествуется о том, как у некоего человека из Чжучэня отвалилась голова, то почему то же самое не могло случиться и с Хэ Сяо-эром?» и т. д.

– Что это значит? – изумлённо произнёс инженер Ямакава, прочитав заметку.

Майор Кимура, медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся:

– Любопытная история! Такая вещь только в Китае и может случиться.

– Да разве это мыслимо где бы то ни было? Инженер Ямакава, усмехаясь, стряхнул пепел в пепельницу.

– Но ещё интересней, что... – майор помедлил со странно серьёзным лицом, – я знал этого Хэ Сяо-эра.

– Знали? Удивительно! Надеюсь, при вашем звании атташе вы не станете заодно с репортёром сочинять небылицы?

– Кто же будет заниматься такой ерундой? Нет, когда я был ранен в битве при... этот самый Хэ Сяо-эр тоже лежал в нашем полевом лазарете, и я для практики в китайском языке несколько раз беседовал с ним. Здесь ведь говорится, что у него была рана на шее, так что

девять шансов из десяти, что это он и есть. Отправившись на разведку или что-то в таком роде, он попал в стычку с нашей кавалерией, и японская шашка угодила ему в шею.

– Странная история. Кстати, этот Хэ Сяо-эр, судя по газете, гуляка. Пожалуй, умри такой человек тогда, – всё было бы только лучше.

– В то время это был чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий человек, среди пленных такие просто редкость. Оттого и врачи его особенно любили и, по-видимому, лечили со всем усердием. Он рассказывал о себе очень интересные вещи. В частности, я до сих пор хорошо помню, как он описывал мне своё состояние, когда он, раненный, упал с лошади. Он скатился в грязь у реки, лежал и смотрел в небо над прибрежными ивами и будто бы отчётливо видел в этом небе материнскую юбку, женские ножки, кунжутные поля...

Майор Кимура бросил папиросу, поднёс к губам чашку с кофе и, взглянув на сливу в горшке, прибавил словно про себя:

– Он говорил, что именно тогда с горечью почувствовал, как отвратительна ему вся его прежняя жизнь.

– И как только кончилась война, он превратился в гуляку? Немногого же стоит человек!

Откинув голову на спинку стула и вытянув ноги, инженер Ямакава, иронически улыбаясь, выдохнул дым к потолку.

– «Немногого стоит человек»? Это вы в том смысле, что он просто прикидывался тихоней?

– Ну да.

– Нет, этого я не думаю. Я думаю, он так чувствовал всерьёз, по крайней мере, тогда. Да и теперь, в ту самую секунду, когда у него (употребляя газетное выражение) отвалилась голова, он, вероятно, чувствовал то же самое. Я представляю себе это так: в драке его, пьяного, опрокинули вместе со столом. Рана его открылась, и в тот же миг голова с болтающейся длинной косой покатила на пол. И юбка матери, женские ножки и цветущие кунжутные поля, которые он видел тогда, опять туманно проплыли у него перед глазами. А может быть, хотя над ним и была крыша, он смотрел далеко ввысь, в глубокое синее небо. И тогда он опять с горечью почувствовал, как отвратительна ему его прежняя жизнь. Но на этот раз было поздно. Впервые, когда он потерял сознание, японские санитары заметили и подобрали его. А теперь тот, с кем он дрался, набросился на него, колотил, пинал. И тут он, полный раскаяния, горько сожалея, испустил дух.

Инженер Ямакава пожал плечами и засмеялся.

– Вы большой фантазёр. Но почему же в таком случае после стольких переживаний он сделался гулякой?

– А это потому, что человек немногого стоит, только в другом смысле. – Закурив новую папиросу, майор Кимура, улыбаясь, ясным, несколько назидательным голосом произнёс: – Каждый из нас должен твёрдо знать, что он немногого стоит. В самом деле, только те, кто это знает, хоть чего-нибудь да стоят. А иначе, как знать, и у нас когда-нибудь отвалится голова, как отвалилась она у Хэ Сяо-эра... Китайские газеты нужно читать именно так и никак иначе.

Январь 1918 г.

Кэса и Морито

1

Ночь. Морито за оградой глядит на диск луны и ступает по опавшей листве, погружённый в думы.

Его разговор с самим собой.

«Вот и луна взошла. Обычно я жду не дождусь её восхода, а сегодня боюсь света! При одной мысли о том, что я, такой, каким был до сих пор, в одну ночь исчезну и с завтрашнего дня сделаюсь убийцей, я дрожу всем телом. Представляю себе, как вот эти руки станут красными от крови. Как проклят я буду в своих собственных глазах! Я не мучился бы так, если бы убил человека, которого ненавижу. Но этой ночью я должен убить человека, к которому ненависти у меня нет.

По виду я его знаю давно. Его имя – Ватару Саэмонно дзё – я узнал только теперь, но уже не помню, как давно мне знакомо его белое, слишком нежное для мужчины лицо. Когда я узнал, что он муж Кэса, я почувствовал ревность – это правда. Но эта ревность теперь исчезла, не оставив следа в моём сердце. И хотя Ватару – мой соперник в любви, у меня нет к нему ни ненависти, ни злобы. Нет, скорей даже я ему сочувствую. Когда я слышал, сколько стараний положил Ватару, чтобы завоевать Кэса в устье Коромогава, я даже думал о нём с теплотой. Полный одним стремлением сделать Кэса своей женой, разве не стал он даже учиться писать танка? Когда я представляю себе любовные стихи, написанные этим настоящим самураем, я не могу сдержать улыбки. Но это вовсе не улыбка насмешки. Просто меня трогает человек, который так старается понравиться женщине. А может быть, его рвение доставляет мне, влюблённому, своеобразное удовлетворение, потому что он старается понравиться женщине, которую я люблю.

Но люблю ли я Кэса настолько, чтобы так говорить? Моя любовь к Кэса делится на две поры: теперь и раньше. Ещё до того, как Кэса связала свою судьбу с Ватару, я её любил. Или думал, что люблю. Но теперь я вижу, что тогда в моём сердце было много нечистого. Чего я желал от Кэса? Я не знал ещё женщин и просто желал овладеть её телом. Не будет большим преувеличением сказать, что моя любовь к Кэса была лишь чувствительностью, приукрашивавшей это желание. И вот подтверждение: перестав встречаться с Кэса, я всё же три года действительно не мог её забыть, но помнил бы я её так, если бы тогда узнал её тело? Как ни стыдно, у меня не хватает духа ответить: да, помнил бы так же. И позже в моей любви к Кэса значительную долю составляло сожаление о том, что я не знал её тела. Снедаемый такими чувствами, я наконец вступил в связь, которой я так боялся и так ждал. «Ну и что же теперь? – снова спрашиваю я сам себя. – Действительно ли я люблю Кэса?»

Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне, как ни тяжело, приходится припомнить некоторые обстоятельства. Случайно встретив Кэса после трёхлетней разлуки на заупокойной службе у моста Ватанабэ, я полгода всеми средствами добивался тайного свидания с ней. И мне это удалось. Нет, удалось не только добиться свидания, но и овладеть её телом, как это мне только снилось во сне. Но меня толкнуло на это не только прежнее сожаление о том, что я не знаю её тела. Сидя на циновках в одной комнате с Кэса в доме у Коромогава, я заметил, что это сожаление как-то незаметно для меня ослабело. Может быть, дело было в том, что к тому времени я уже знал женщин. Но была причина важнее: Кэса подурнела. В самом деле, теперешняя Кэса уже не та, что три года назад. Кожа её потеряла свой блеск, под глазами появились тёмные круги. Прежняя пышная мягкость щёк и подбородка исчезла, как выдумка.

Единственное, что не изменилось, это, пожалуй, только всё те же властные, смелые чёрные глаза. Эта перемена нанесла моему желанию страшный удар. Я до сих пор хорошо помню, что, встретившись с Кэса впервые после трёхлетней разлуки, я был так потрясён, что невольно отвёл глаза.

Так зачем же, уже не чувствуя прежнего влечения к ней, я вступил с ней в связь? Во-первых, мною двигало странное желание покорить её. Встретившись со мной, Кэса намеренно преувеличенно рассказывала мне о своей любви к Ватару. А во мне это почему-то вызвало только ощущение лжи. «Эту женщину связывает с мужем только одно чувство – тщеславие», – думал я. «А может быть, она просто сопротивляется, боится вызвать жалость?» – думал я также. И во мне всё сильнее разгоралась жажда изобличить эту ложь. Но если меня спросят, почему я решил, что это ложь, и скажут мне, что в таких мыслях сказалась моя самовлюблённость, я не смогу возражать. И всё же я был убеждён, что это ложь. И убеждён до сих пор.

Но и желание покорить её было не всё, что мною тогда владело. Кроме того... стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мною владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал её тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине, это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девку, пожалуй, не так подл, как я был тогда.

Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с Кэса. Или, вернее, опозорил Кэса. Теперь, возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала... Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я Кэса. Временами я скорее ненавижу её. В особенности после того, как всё уже было кончено и она лежала в слезах, а я поднял её, насильно обнимая, – тогда она казалась мне бесстыдней, чем я, бесстыдный! Её растрёпанные волосы, её потное лицо – всё свидетельствовало о безобразии её тела и её души. Если раньше я её и любил, то этот день был последним – любовь исчезла навек. Или если раньше я её не любил, то с этого дня в душе у меня родилась ненависть – можно сказать и так. И вот... О! Разве не готов я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти?

В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам, своими собственными устами. «Убить Ватару?» – прошептал я, приблизив губы к её уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошёл с ума! Но я это прошептал. С мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать... Чем больше я её презирал, чем больше я её ненавидел, тем больше и больше хотелось мне чем-нибудь её унижить. Ничто не приблизило бы меня к этой цели так, как слова, которые я произнёс: «Убить Ватару», – убить мужа, любовь к которому Кэса выставляла напоказ, вынудить у неё согласие на это. И вот я, точно одержимый злым духом, сам того не желая, вызвался совершить убийство. Но если даже этих моих побуждений, из-за которых я сказал «убить Ватару», было мало, то потом какая-то невидимая сила (наверное, сам дьявол) поработила мою волю и увлекла меня на путь зла – иначе объяснить это невозможно. Так или иначе, я неотступно шептал на ухо Кэса одно и то же.

Тогда немного погодя Кэса вдруг подняла лицо и прямо ответила, что согласна на мой замысел. Для меня не только лёгкость этого ответа оказалась неожиданной. Когда я взглянул на её лицо, в её глазах таился странный блеск, какого я ни разу ещё у неё не видел. Прелюбодейка! – вот что сразу же пришло мне в голову. И чувство, похожее на отчаяние, в один миг развернуло перед моими глазами весь ужас задуманного мною. Разумеется, излишне упоминать, что меня и тогда мучило отвращение к её развратному, поблѣкшему виду. Если бы я только мог, я бы тут же на месте нарушил своё обещание. Я повергнул бы эту неверную жену на дно гнуснейшего позора. Возможно, тогда – пусть я и играл этой женщиной – моя совесть могла бы укрыться за справедливым негодованием. Но на это я уже не был способен. Когда лицо её вдруг изменилось и она, точно видя меня насквозь, пристально посмотрела мне в глаза, при-

знаюсь прямо: я принуждён был дать обещание убить Ватару и назначил день и час потому, что я боялся: если я не соглашусь, Кэса мне отомстит. И до сих пор страх неотвязно сковывает мне сердце. Если кто-нибудь посмеётся надо мной, как над трусом, – пусть смеётся! Это сделает только тот, кто не видел Кэса тогда. «Если я не убью его, то Кэса – пусть и не собственными руками – всё равно убьёт меня. Так пусть лучше я сам убью Ватару!» – с отчаянием думал я, глядя в её глаза, плачущие без слёз. Я дал клятву, и когда я увидел, как Кэса опустила глаза и засмеялась, так что на её бледных щеках появились ямочки, разве основательность моего страха не подтвердилась?

О, из-за этой проклятой клятвы я должен на свою обесчещенную, дважды обесчещенную душу принять грех убийства! Если бы этой ночью я нарушил клятву... Нет, этого я тоже не вынесу. Во-первых, есть та, кому я клялся. И, кроме того, я говорил, что боюсь мести. И это не ложь. Но есть и ещё нечто. Что? Что это за великая сила, которая гонит меня, такого труса, на убийство безвинного? Не знаю. Не знаю, но иногда... Нет, не может быть! Я презираю эту женщину. Боюсь. Ненавижу. И всё-таки... и всё-таки... может быть, я всё ещё люблю её...»

Продолжая ходить взад и вперёд, Морито больше не произносит ни слова. Лунный свет. Слышно, как где-то поют песни имаё:

О душа, о сердце
человека!
Ты, как непроглядный мрак,
темно и глухо.
Ты горишь одним огнём —
страстей нечистых,
Угасаешь без следа, —
и вот вся жизнь!

2

Ночь. Кэса, встав с постели и отвернувшись от света лампы, кусает рукав, погружённая в думы.

Её разговор с самой собой.

«Придёт ли он? Или не придёт? Не может быть, чтобы не пришёл. Однако луна уже склоняется к закату, а шагов не слышно, – может быть, он раздумал? Вдруг он не придёт?.. О, тогда я опять должна буду смотреть на солнце со стыдом, как распутная девка! Как выдержу я такую мерзость, такую гнусность? Тогда я буду всё равно что труп, валяющийся на дороге. Опозоренная, попираемая, в довершение всех зол обречённая нагло выставлять свой позор на свет, я всё же должна буду молчать, как немая. Если это случится, пусть я умру – даже смерть не облегчит моих мук! Нет, нет, он непременно придёт! Я не могу думать иначе с тех пор, как при прощании я видела его глаза. Он боится меня. Ненавидит, презирает и всё же боится. В самом деле, если бы я надеялась только на себя, я не могла бы сказать, что он непременно придёт. Нет, я надеюсь на подлый страх, рождённый его себялюбием. Вот почему я могу так сказать. Он непременно прокрадётся сюда...»

Я, не способная больше надеяться на самоё себя, – что я за жалкий человек! Три года назад я больше всего надеялась на себя, на свою красоту. Три года назад... может быть, ближе к правде будет сказать – до того дня. В тот день, когда я встретила с ним в одной комнате, в доме у тётки, я с первого же взгляда увидела в его сердце своё безобразие. Лицо его оставалось спокойным, он как ни в чём не бывало говорил мне нежные слова, чтобы меня увлечь. Но разве может поддаться таким словам сердце женщины, однажды понявшей своё безобразие! Я только

терзалась. Боялась. Горевала. Я вспомнила, как мне было жутко, когда в детстве, на руках у няньки, я смотрела на лунное затмение, – но насколько тогда было лучше, чем теперь! Все мои мечты сразу развеялись. И меня охватила тоска, как на дождливом рассвете. Дрожа от тоски, я в конце концов отдала своё всё равно что мёртвое тело этому человеку. Этому человеку, которого я не люблю, который меня ненавидит, который меня презирает, этому сластолюбцу... Может быть, я не могла вынести тоски, охватившей меня, когда я увидела своё безобразие? И я хотела обмануть всех, когда, словно в порыве страсти, прижала голову к его груди? Или же меня, как и его, толкала только гнусная чувственность? От одной этой мысли мне стыдно. Стыдно! Стыдно! Особенно в тот миг, когда я высвободилась из его объятий, как презирала я сама себя!

Как ни хотела я сдержать слёзы, от гнева и тоски они лились опять и опять. Но это была не только печаль о нарушенной верности. Мучительнее всего было то, что, заставив меня нарушить мою верность, меня ещё и унизили, что, ненавидя меня, как прокажённого пса, меня ещё и терзают. Что же я потом сделала? Теперь это представляется мне смутным, как далёкое воспоминание. Я только помню, как я рыдала, и вдруг его усы коснулись моего уха, и он, горячо дыша, тихо прошептал: «Убить Ватару?» Услышав эти слова, я почувствовала ещё мне самой непонятное, странное ощущение возвращения жизни. Жизни? Если сияние луны можно назвать светом, то и это было возвращение жизни. Но как эта жизнь не похожа на свет солнца! И всё же разве эти ужасные слова не утешили меня? О, неужели я, неужели женщина может так радоваться любви другого мужчины, что готова убить своего мужа?

Ощущая это возвращение жизни, тоскливой, как лунный свет в эту ночь, я всё ещё плакала. А потом? Потом? Когда, как я взяла с него клятву убить мужа? Только принимая клятву, я в первый раз вспомнила о муже. Я открыто говорю – в первый раз. До тех пор я была поглощена лишь мыслями о самой себе, о своём позоре. И только тогда вспомнила о муже, о своём тихом муже... нет, не о муже. Перед моими глазами, как живое, всплыло лицо мужа, что-то с улыбкой мне говорящего. Наверно, мой замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. Потому что как раз тогда я решила умереть. Я радовалась, что я в силах решиться. Но вот, перестав плакать, я подняла лицо, взглянула на Морито, снова, как и раньше, прочла в его сердце, что я безобразна, и вся моя радость сразу погасла. Я опять вспомнила мрак лунного затмения, которое я видела, лёжа на руках у кормилицы. Как будто разом вырвались на волю все притаившиеся на дне радости злые духи. Если я заменю собой мужа, значит ли это, что я действительно люблю его? Нет, нет, мне только хочется под этим предлогом искупить свой собственный грех – то, что я отдалась этому человеку. Я, у которой не хватает мужества покончить с собой! Я, исполненная подлого желания выставить себя перед людьми в лучшем свете! Но это ещё можно было бы изменить. Я была ещё подлей! Ещё, ещё безобразней! Под предлогом заменить собой мужа не хотела ли я отомстить этому человеку за его ненависть, за его презрение, за его гнусную чувственность, в угоду которой он сделал меня своей игрушкой, отомстить за всё? Вот подтверждение: когда я увидела его лицо, странное оживление, похожее на лунный свет, потухло во мне, и моё сердце вдруг оледенила печаль. Я умру не ради мужа. Я хочу умереть ради себя самой. Я хочу умереть из-за горечи оттого, что изранили моё сердце, и из-за злобы оттого, что осквернили моё тело. Вот почему я хочу умереть. О, моя жизнь ничего не стоит! Ничего не стоит и моя смерть.

Но насколько эта смерть, даже если она и ничего не стоит, желанней, чем жизнь! Скрывая печаль, я принудила себя улыбнуться и ещё раз взяла с него клятву убить мужа. Он догадлив, и он по этим моим словам, вероятно, догадался, что я натворю, если увижу, что он нарушил клятву. А если так – он должен прийти, дав клятву, он не может не прийти... Что это, ветер? Когда я подумаю, что мои мучения, начавшиеся с того дня, этой ночью наконец прекратятся, у меня становится легко на сердце. Завтра солнце бросит холодный свет на мой обезглавленный труп. Когда это увидит мой муж... Нет, о муже не надо думать, муж меня любит. Но эта любовь

мне не нужна. С давних пор я могла любить только одного человека. И этот единственный человек сегодня ночью придёт меня убить. Даже при свете лампы мне слишком светло. Мне, измученной моим возлюбленным...»

Кэса гасит светильник. Вскоре в темноте – слабый звук отодвигаемой ставни. И сквозь щель падает бледный свет луны.

Апрель 1918 г.

Муки ада

1

Второго такого человека, как его светлость Хорикава, раньше-то, уж конечно, не было, да и впредь вряд ли будет. Ходила молва, будто перед его рождением у изголовья достопочтенной матушки явился сам святой Дайитоку. Как бы там ни было, он с самого рождения своего, говорят, непохож был на обыкновенных людей. И оттого ни разу не случилось, чтобы мы не подивились тому, что ему угодно было сделать. Посмотреть хоть на его дворец у реки Хорикава, такой, как это говорят, «величественный», что ли? Там такое понаделано, что нам с нашим простым разумением этого и не понять. Люди рассказывают о его светлости невесть что, сравнивают его светлость с императором Ши Хуан-ди и Ян-ди, да ведь это, пожалуй, всё равно что, как говорится в пословице, слепому на ощупь судить о слоне. Однако его светлость помышлял не только о себе, о своём блеске и славе. Нет, он вникал и в то, что было куда ниже его. Он, как говорится, радовался вместе со всем миром – такое уж у него было великодушное сердце. Вот почему, даже когда его светлость оказался во дворце Нидзё во время ночных бесчинств злых духов, с ним не приключилось ничего дурного. И дух самого садайдзина Тору, который, как шла молва, из ночи в ночь появлялся во дворце Кахараин, на Третьей Восточной улице, – в том дворце, что прославлен изображением видов Сиёгама в Митинёку, – так вот, даже этот призрак исчез, стоило его светлости на него прикрикнуть. Вот какое могущество было у его светлости, так что не удивительно, что народ во всей столице – стар и млад, мужчины и женщины, когда заходила речь о его светлости, говорили о нём, как о живом Будде. Прошёл даже слух, что когда при возвращении из дворца с праздника сливовых цветов понесли быки, впряжённые в колесницу его светлости, и примяли одного старика, как раз там проходившего, то старик только сложил руки и благодарил за то, что по нему прошли быки его светлости.

Вот как всё обстояло, и поэтому много чего можно будет порассказать о жизни его светлости даже в грядущие времена. Как он на пиру выставил в подарок гостям целых тридцать белых коней, как он при постройке моста Нагара отдал «в свай» своего любимого отрока, как повелел китайцу-монаху, что знал искусство врачевания, разрезать себе нарыв на ляжке... Если перебирать всё по отдельности – и конца не будет! Но из всего этого множества рассказов самый страшный, пожалуй, будет о том, как появились ширмы с картиной мук ада, что и сейчас в доме его светлости почитаются самой большой драгоценностью. Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясён. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались, – об этом что уж говорить! Даже мне, служившей у его светлости целых тридцать лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы.

Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Ёсихидэ, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада.

2

Ёсихидэ... верно, и теперь ещё есть люди, которые его помнят. Это был такой знаменитый художник, что вряд ли в то время нашёлся бы человек, который мог бы с кистью в руках сравниться с ним. В ту пору было ему, пожалуй, лет под пятьдесят. Посмотришь на него – такой низенький, тощий, кожа да кости, угрюмый старик. Во дворец к его светлости он являлся в тёмно-жёлтом платье каригину, на голове – шапка момизбоси. Нрава был он прегадкого, и губы его, почему-то не по возрасту красные, придавали ему неприятное сходство с животным.

Говорили, будто он лижет кисти и оттого к губам пристаёт красная краска, а что это было на самом деле – кто его знает? Злые языки говорили, что Ёсихидэ всеми своими ухватками похож на обезьяну, и даже кличку ему дали: «Сáрухидэ»⁶.

Да, раз уже я сказала «Сарухидэ», то расскажу заодно вот ещё о чём. В ту пору во дворце его светлости возвели в ранг камеристки единственную пятнадцатилетнюю дочь Ёсихидэ, милую девушку, совсем непохожую на своего родного отца. К тому же, может, оттого, что она рано лишилась матери, она была задумчивая, умная не по летам, ко всем внимательная, и потому все другие дамы, начиная с дворцовой управительницы, любили её.

Вот по какому-то случаю его светлости преподнесли ручную обезьяну из провинции Тáмба, и сын его светлости, большой проказник, назвал её Ёсихидэ. Обезьяна и сама по себе смешная, а тут ещё такая кличка, вот никто во дворце и не мог удержаться от смеха. Ну, если бы только смеялись, это ещё ничего, но случалось, что, когда она взберётся на сосну в саду или запачкает татами в покоех, люди забавы ради подымали крик: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!» – чем, конечно, сильно донимали художника.

Как-то раз, когда дочь Ёсихидэ, о которой я сейчас говорила, шла по длинной галерее, неся ветку сливы с письмом, из противоположной двери навстречу ей, прихрамывая, кинулась обезьянка Ёсихидэ – она, видно, повредила себе лапу и не могла взобраться на столб, как обычно делала. А за ней – что бы вы думали? – гнался молодой господин, размахивая хлыстом и крича:

– Негодный воришка! Постой, постой!

Увидев это, дочь Ёсихидэ было растерялась, но тут как раз обезьянка подбежала, уцепилась за её подол и жалобно заскулила. Девушке сразу стало так её жалко – прямо не совладать с собой. С веткой сливы в руке она отвела пахнувший фиалками рукав, нежно обняла обезьянку и, склонившись перед молодым господином, ясным голоском обратилась к нему:

– Осмелюсь сказать, это ведь животное. Пожалуйста, простите её.

Но молодой господин уже стоял перед ними. Он гневно нахмурился и топнул ногой.

– Чего заступаешься! Обезьяна украла мандарины.

– Ведь это животное... – повторила девушка, набравшись смелости, а потом с грустной улыбкой добавила: – К тому же её зовут Ёсихидэ. Выходит, будто вы гневаетесь на моего отца, и я не могу спокойно смотреть на это.

Тогда, конечно, молодой господин овладел собой.

– Вот как!.. Ну, раз просишь за отца, я, так и быть, уступлю и прошу, – сказал он неохотно, бросил хлыст и ушёл через ту самую дверь, откуда показался.

3

Дружба дочери Ёсихидэ с обезьянкой и началась с этого случая. Девушка подвязала ей на шею, на красивой красной ленте, золотой колокольчик, полученный в подарок от молодой госпожи, и обезьянка уже не отходила от девушки. А когда однажды дочь Ёсихидэ, простудившись, лежала в постели, обезьянка неотлучно сидела возле неё, – может, это только казалось, – с грустной мордочкой и всё время кусала себе ногти.

С тех пор – странная вещь! – никто уже больше не мучил обезьянку, как бывало раньше. Напротив, мало-помалу её стали ласкать, даже сам молодой господин иногда кидал ей перси-моны или каштаны. Мало того, когда однажды кто-то из слуг пнул обезьянку ногой, молодой господин очень разгневался; и говорили, что вскоре за тем его светлость повелел дочери Ёсихидэ явиться к нему с обезьянкой на руках именно потому, что ему стало известно, как раз-

⁶ Сару – обезьяна.

гневался молодой господин. Тут, кстати, до него дошли и рассказы о том, почему девушка так любит обезьянку.

– Девчонка – хорошая дочь. Хвалю.

Так по воле его светлости девушка получила в награду алое акомэ. А когда и обезьянка почтительно взяла в руки акомэ, делая вид, будто его рассматривает, его светлость изволил ещё больше развеселиться. Да, вот как это было, и, значит, его светлость стал благоволить к дочери Ёсихидэ именно потому, что одобрил её почтение и любовь к отцу, сказавшиеся в её любви к обезьяне, а вовсе не потому, что был сластолюбив, как говорили люди. Правда, и такая молва пошла не без причины, но об этом я расскажу не торопясь, как-нибудь в другой раз. Пока же довольно сказать, что при всей её красоте не такой был человек его светлость, чтобы засматриваться на какую-то дочь художника.

Так вот, дочь Ёсихидэ удалилась от его светлости с честью, но так как она была девушка умная, то не навлекла на себя зависти остальных камеристок. Напротив, с тех пор её вместе с обезьянкой стали баловать, и так часто сопровождала она молодую госпожу на прогулку, что, можно сказать, почти не отходила от неё.

Однако оставлю пока что девушку и расскажу ещё об её отце, Ёсихидэ. Да, обезьяну вскорости все полюбили, но самого-то Ёсихидэ по-прежнему терпеть не могли и по-прежнему за спиной звали Сарухидэ. И так было не только во дворце. В самом деле, и отец настоятель из Ёкогава, когда произносили при нём имя Ёсихидэ, менялся в лице, словно встретился с чёртом, и вообще изволил его ненавидеть. Правда, поговаривали, будто причина в том, что Ёсихидэ изобразил отца настоятеля на шуточных картинках, но это болтали низшие слуги, и не могу сказать наверняка, так ли это. Во всяком случае, отзывались о нём дурно везде, кого ни спросишь. Если кто не говорил о нём плохо, то разве два-три приятеля-художника. Да ещё люди, которые видели его картины, но не знали его самого.

Однако Ёсихидэ не только с виду был гадкий, у него был отвратительный нрав, и нельзя не сказать, что ему доставалось по заслугам.

4

А нрав у него был вот какой: он был скупой, бессовестный, ленивый, алчный, а пуще всего – спесивый, заносчивый человек. Что он первый художник в стране – это прямо-таки капало у него с кончика носа. Ладно бы дело шло только о живописи, но он и в другом не хотел никому уступать и высмеивал даже нравы и обычаи. Один старый ученик Ёсихидэ рассказывал мне, что, когда как-то раз в доме одной знатной особы в знаменитую жрицу Хигáки вселился дух и она начала вещать страшным голосом, Ёсихидэ и слушать её не стал, а взял припасённую кисть и спокойно срисовал ужасное лицо жрицы. Должно быть, и нашествие духа было в его глазах просто детским надувательством.

Вот какой это был человек, и потому лицо будды Киссётэн он срисовал с простой потаскушки; а будду Фудó писал с оголтелого каторжника, и много чего непотребного он делал, а когда его за это упрекали, он только посвистывал. «Что же, боги и будды, которых Ёсихидэ нарисовал, его же за это накажут? Чудно!» Такие слова пугали даже учеников, и многие из них в страхе за будущее торопились его оставить. Как бы там ни было, он думал, что такого замечательного человека, как он, в его время нет нигде на свете.

Нечего говорить о том, какой высоты Ёсихидэ достиг в искусстве живописи. Правда, так как его картины и по рисунку и по краскам во всём отличались от произведений других художников, то среди его недоброжелателей, собратьев по кисти, поговаривали, что он шарлатан. По их словам, когда дело касается картин Каванáри, или Канабáка, или других знаменитых старых мастеров, то о них ходят удивительные рассказы: то будто на разрисованной створке двери в лунные ночи благоухает слива, то будто слышно, как придворные, изображённые на ширме,

играют на флейте... Когда же речь идёт о картинах Ёсихидэ, то говорят только странные и жуткие вещи. Например, о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Ёсихидэ написал на воротах храма Рюгайдзи, рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. Больше того, находились такие, которые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов. А портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости? Говорили ведь, что не проходит и трёх лет, как те, кто на них изображён, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают.

Послушать злоязычных, так это самое верное доказательство, что в картинах Ёсихидэ замешано колдовство.

Но поскольку Ёсихидэ, как я уже говорила, был человек особенный, то он только гордился этим, и когда как-то раз его светлость изволил пошутить: «Ты, кажется, любишь уродство?» – то он, неприятно усмехнувшись своими не по возрасту красными губами, самодовольно ответил: «Да, всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства!» Пусть он и первый художник в стране, но так кичиться в присутствии его светлости... Недаром ученик, о котором я давеча упоминала, потихоньку дал ему кличку «Тираэйдзю», хуля его за то, что он зазнаётся. Вы, наверно, знаете: Тираэйдзю – так звали чёрта, который давно в старину прибыл к нам из Китая.

Но даже у Ёсихидэ, даже у этого человека, который не признавал никого и ничего, было одно настоящее человеческое чувство.

5

Ёсихидэ до безумия любил свою единственную дочь, ту самую девушку-камеристку. Я уже говорила, что девушка была нежная, хорошая дочь, но и его любовь к ней отнюдь не уступала её чувству, и если рассказать, что этот человек, который на храмы никогда не жертвовал, на платья дочери или украшения для её волос денег не жалел никогда, может показаться, что это просто ложь.

Впрочем, любовь Ёсихидэ к дочери сводилась лишь к тому, что он её лелеял, а найти ей хорошего мужа – этого у него и в мыслях не было. Какое там! Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтоб набрать головорезов, которые напали на смельчака и его убивали. Поэтому, когда по слову его светлости девушку произвели в камеристки, старик отец был очень недоволен и даже перед лицом его светлости хмурился. Должно быть, отсюда-то и пошли толки о том, что его светлость увлечён красотой девушки и держит её во дворце, не считаясь с недовольством отца.

Впрочем, хотя толки-то были ложные, но что Ёсихидэ из любви к дочери постоянно просил, чтобы её отпустили из дворца, это правда. Однажды, рисуя по приказу его светлости младенца Мбндзю, он очень удачно изобразил лицо любимого отрока его светлости, и его светлость, весьма довольный, изволил милостиво сказать:

– В награду дам тебе что хочешь. Выскажи своё желание, не стесняйся.

Тогда Ёсихидэ – что бы вы думали? – дерзко сказал:

– Пожалуйста, отпустите мою дочь!

В других дворцах – дело особое, но тех, кто служил его светлости Хорикава, так ласкали... Где же ещё найдётся человек, который бы так грубо обратился с подобной просьбой? Это даже его светлость, такого великодушного, видимо, рассердило, и он некоторое время только молча смотрел в лицо Ёсихидэ, а потом изволил резко сказать: «Нельзя», – и тут же поднялся. И такие вещи повторялись несколько раз. Как вспомнишь теперь, пожалуй, с каждым разом его светлость изволил смотреть на Ёсихидэ всё холоднее. Да и девушка, должно быть, беспокоясь за отца, часто приходила в комнаты камеристок и горько плакала, кусая рукав. Тогда толки о том, что его светлость влюбился в дочь Ёсихидэ, ещё усилились. Некоторые даже говорили,

будто ширмы с муками ада появились-де из-за того, что девушка противилась желаниям его светлости; но этого, разумеется, не могло быть.

Как я понимаю, его светлость не хотел отпустить дочь Ёсихидэ потому, что он с жалостью думал о судьбе молодой девушки. Он милостиво полагал, что, чем оставлять её у такого упрямого отца, лучше держать её у себя во дворце, где ей жилось привольно. Разумеется, он благоволил к милой девушке. Но что у него были сластолюбивые помыслы, это досужие выдумки. Да нет, можно сказать, что это просто ложь, лишённая всяких оснований.

Но, как бы там ни было, только уже в то время, когда Ёсихидэ из-за дочери оказался почти в немилости, его светлость, – о чём он помыслил, не знаю, – вдруг призвал к себе художника и повелел ему разрисовать ширмы, изобразив на них муки ада.

6

Стоит только сказать: «Ширма с муками ада», – как эта страшная картина так и встаёт у меня перед глазами.

Если взять другие изображения мук ада, то надо сказать вот что: то, что нарисовал Ёсихидэ, не похоже на картины других художников, прежде всего, как бы это сказать, по расположению. В углу на одной створке мелко нарисованы десять князей преисподней, а по всему остальному пространству бушует такое яростное пламя, что можно подумать, будто пылают меч-горы, поросшие нож-деревом. Только кое-где жёлтыми или синими крапинками пробивается китайская одежда адских слуг, а так, куда ни кинь взгляд, всё сплошь залито алым пламенем, и среди огненных языков, изогнувшись, как крест мандзи, бешено вьётся чёрный дым разбрызганной туши и летят горящие искры развеянной золотой пыли.

Уже в этом одном сила кисти поражает взор, но и грешники, корчащиеся в огне, – таких тоже почти что не бывает на обычных картинах ада. Среди множества грешников Ёсихидэ изобразил людей всякого звания, от высшей знати до последнего нищего. Важные сановники в придворных одеяниях, очаровательные юные дамы в шёлковых нарядах, буддийские монахи с чётками, молодые слуги на высоких асида, отроковицы в длинных узких платьях, гадатели со своими принадлежностями – перечислять их всех, так и конца не будет! В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычьими и конскими головами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно, жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапы у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть, какой-нибудь наместник, с грудью, насквозь пронзённой мечом, висит вниз головой, как летучая мышь. Кого стегают железными бичами, кто придушен тяжестью камней, которых не сдвинет и тысяча человек, кого терзают клювы хищных птиц, в кого впились зубы ядовитого дракона, – пыток, как и грешников, там столько, что не перечить.

Но самое ужасное – это падающая сверху карета, соскользнувшая до середины нож-дерева, которое торчит, как клык хищного животного. За бамбуковой занавеской, приподнятой порывами ветра преисподней, женщина, так блистательно разряженная, что её можно принять за фрейлину или статс-даму, с развевающимися в огне длинными чёрными волосами, бьётся в муках, откинув назад белую шею, и взять ли эту женщину, взять ли пылающую карету – всё, всё так и вызывает перед глазами муки огненного ада. Кажется, будто ужас всей картины сосредоточился в этой одной фигуре. Это такое нечеловеческое искусство, что, когда глядишь на картину, в ушах сам собой раздаётся страшный вопль.

Да, вот такая это вещь, и для того, чтобы она была написана, и произошло то страшное дело. Ведь иначе даже сам Ёсихидэ – как мог бы он так живо нарисовать муки преисподней? За то, что он создал эту картину, ему пришлось перенести такие страдания, что сама жизнь ему опустылела. Можно сказать, этот ад на картине – тот самый ад, куда предстояло попасть и самому Ёсихидэ, первому художнику своей страны.

Может быть, торопясь поведать вам об этой удивительной ширме с муками ада, я забежала вперед. Ну, теперь буду продолжать по порядку и перейду к Ёсихидэ в ту пору, как он получил от его светлости повеление написать картину мук ада.

7

Месяцев пять-шесть Ёсихидэ совсем не показывался во дворец и занимался только своей картиной. Странное дело, стоило ему сказать себе: «Ну, принимаюсь за работу!» – как он, такой чадолюбивый отец, забывал даже родную дочь. Тот ученик, о котором я давеча упоминала, рассказывал мне, что, когда Ёсихидэ брался за работу, в него точно лиса вселялась. И правда, в то время прошёл слух, будто Ёсихидэ составил себе имя в живописи потому, что дал обет богу счастья. В подтверждение некоторые говорили, что надо только потихоньку подсмотреть, как Ёсихидэ работает, и тогда непременно увидишь, как вокруг него – и спереди, и сзади, и со всех сторон – вьются призраки-лисицы. Правда то, что, взяв в руки кисть, он забывал обо всём на свете, кроме своей картины. И днём и ночью сидел он, запершись, и редко выходил на дневной свет. А когда писал ширму с муками ада, то стал совсем как одержимый.

Мало того что у себя в комнате, где и днём были спущены занавеси, он при свете лампад тайными способами растирал краски или, нарядив учеников в суйкан или каригину, тщательно срисовывал каждого в отдельности. От таких чудачеств он не воздерживался никогда, даже ещё до того, как стал писать ширмы с муками ада, при любой работе. Когда он писал в храме Рюгайдзи картину «Круговорот жизни и смерти», то спокойно присаживался перед валявшимися на дорогах трупами, от которых всякий обыкновенный человек нарочно отворачивается, и точка в точку срисовывал полуразложившиеся руки, ноги и лица. Каким образом находил на него такой стих – это, пожалуй, не всякий поймёт. Рассказывать подробно сейчас не хватит времени, но если поведать вам самое главное, то вот как это происходило.

Однажды, когда один из учеников Ёсихидэ (тот самый, о котором я уже говорила) растирал краски, мастер вдруг подошёл и сказал ему:

– Я хочу немного соснуть. Только в последнее время я всё вижу плохие сны.

В этом не было ничего особенного, и ученик, не бросая работы, коротко ответил:

– Хорошо.

Однако Ёсихидэ – что бы вы думали! – с небывало грустным видом смущённо попросил:

– Не посидишь ли ты возле меня, пока я буду спать?

Ученику показалось странным, что мастер принимает так близко к сердцу какие-то сны, но просьба не была обременительна, и он согласился. Тогда мастер опять встревоженно и как-то смущённо продолжал:

– Тогда ступай в заднюю комнату. А если придут другие ученики, то пусть ко мне не входят.

Это была та комната, где он писал картины, и там при задвинутой, как ночью, двери в тусклом свете лампад стояла ширма с картиной, пока набросанной только тушью. Ну вот, когда они пришли туда, Ёсихидэ подложил под голову локоть и крепко заснул, как будто совсем обессилев от усталости. Но не прошло и получаса, как до слуха сидевшего возле него ученика стали доноситься какие-то непонятные, еле слышные стоны.

8

Стоны становились громче и постепенно перешли в прерывистую речь – казалось, будто утопающий стонет и вскрикивает, захлёбываясь в воде.

– Что ты говоришь: «Приходи ко мне?» Куда приходите? – «Приходи в ад. Приходи в огненный ад!» – Кто ты? Кто ты, говорящий со мной? Кто ты? – «Как ты думаешь, кто?»

Ученик невольно перестал растирать краски и украдкой боязливо взглянул на мастера: морщинистое лицо старика побледнело, на нём крупными каплями выступил пот, рот с редкими зубами и пересохшими губами был широко раскрыт, как будто он задыхался. А во рту что-то шевелилось быстро-быстро, словно дёргали за нитку, – да, да, это был его язык. Отрывистые слова срывались с этого языка.

– «Как ты думаешь, кто?» – Да, это ты. Я так и думал, что это ты. Ты пришёл за мной? – «Говорю тебе, приходи. Приходи в ад!» – В аду... в аду ждёт моя дочь.

Ученику стало жутко, ему вдруг померещилось, будто с ширмы соскользнули какие-то зыбкие, причудливые тени. Разумеется, ученик сейчас же протянул руку к Ёсихидэ и что было сил стал трясти его, чтобы разбудить, но мастер продолжал во сне, как в бреду, говорить сам с собой и никак не мог проснуться. Тогда ученик, собравшись с духом, плеснул ему в лицо стоявшую рядом воду для мытья кистей.

– «Она ждёт, садись в экипаж... садись в этот экипаж и приезжай в ад!..»

В ту же минуту эти слова превратились в стон, как будто говорящему сдавили горло, и Ёсихидэ, раскрыв глаза, вскочил так быстро, словно его кольнули. Должно быть, необычайные видения сна ещё витали под его веками. Некоторое время он испуганно смотрел прямо перед собой с широко раскрытым ртом и наконец, придя в себя, вдруг грубо приказал:

– Мне уже лучше, ступай!

Зная, что мастеру нельзя перечить, иначе непременно получишь выговор, ученик поспешно вышел из комнаты, и когда он опять попал на яркий солнечный свет, то облегчённо вздохнул, как будто сам проснулся от дурного сна.

Но это ещё ничего, а вот примерно через месяц Ёсихидэ позвал к себе в комнату другого ученика: художник, кусая кисть, сидел при тусклом свете лампы и, резко обернувшись к вошедшему, сказал:

– Слушай, у меня к тебе просьба: разденься догола!

Так как и раньше случалось, что мастер давал такое приказание, ученик, быстро скинув одежду, разделся донага. Тогда Ёсихидэ как-то странно скривился.

– Я хочу посмотреть на человека, закованного в цепи, так что, как мне ни жаль тебя утруждать, исполни ненадолго мою просьбу, – хладнокровно произнёс он.

Этот ученик был крепко сложенный юноша, которому больше пристало держать в руках меч, чем кисти, но тут даже он испугался. Позже, рассказывая об этом, он всегда повторял: «Я думал, уж не сошёл ли мастер с ума, не хочет ли он убить меня». Но мастера его нерешительность, должно быть, вывела из терпения. Перебирая в руках откуда-то взявшуюся тонкую железную цепь, он стремительно, точно набрасываясь на врага, схватил ученика за плечи, силой скрутил ему руки и обмотал цепью всё тело, потом рванул за конец, и ученик, потеряв равновесие, во весь рост грохнулся на пол.

9

В эту минуту ученик похож был на опрокинутую бутылку сакэ. Руки и ноги его были безжалостно скручены, так что шевелить он мог только головой. К тому же цепь так стягивала его полное тело, что кровь в нём остановилась, и не только на лице и на груди, но на всём теле кожа у него стала багровой. Но Ёсихидэ всё это ничуть не беспокоило. Расхаживая вокруг этого тела, похожего на опрокинутую бутылку, и рассматривая его со всех сторон, он один за другим делал наброски. Какие мучения испытывал скованный ученик, об этом, пожалуй, незачем и говорить.

Так, вероятно, продолжалось бы долго, если бы не произошло нечто неожиданное. К счастью (а может быть, лучше сказать – к несчастью), из-за стоявшего в углу комнаты горшка вдруг, извиваясь, узкой лентой потекло что-то похожее на струю чёрного масла. Вначале оно

двигалось вперёд медленно, как липкая жидкость, но потом стало скользить быстрее и, поблёскивая, подтекло к самому носу ученика. Тогда он с трудом, не помня себя, застонал: «Змея, змея!» Как он потом рассказывал, ему казалось в эту минуту, что вся кровь в нём застыла, – и было отчего. Змея уже чуть не касалась своим холодным жалом его шеи, в которую ввелись цепи. Это неожиданное вмешательство испугало даже бесчеловечного Ёсихидэ. Поспешно бросив кисть, он нагнулся и мигом ухватил змею за хвост, так что она повисла вниз головой. Змея, покачиваясь, подняла голову и обвилась сама вокруг себя, но никак не могла дотянуться до его руки.

– Из-за тебя пропал рисунок, – хрипло и злобно пробормотал он, бросил змею в горшок в углу комнаты и с явной неохотой развязал цепь, которой был опутан ученик. Это было всё, он даже не сказал ученику доброго слова. Должно быть, он досадовал не столько из-за того, что ученика могла укусить змея, сколько из-за того, что испортил рисунок. Потом уже стало известно, что и эту змею он нарочно держал у себя, чтобы рисовать с неё.

Пожалуй, довольно рассказать это одно, чтобы вы в общем представили себе его увлечение работой – неистовое, прямо бешеное. Но уж расскажу заодно, как другой ученик, лет тринадцати-четырнадцати, из-за ширмы с муками ада пережил такой ужас, который чуть не стоил ему жизни. У этого ученика была белая, как у женщины, кожа. Однажды вечером мастер позвал его в свою комнату, и он, ничего не подозревая, пошёл на зов. Смотрит – Ёсихидэ при свете лампы кормит с рук сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной она была, пожалуй, с кошку. Да и перья, торчавшие с обеих сторон, как уши, и большие круглые янтарные глаза – всё это тоже напоминало кошку.

10

Ёсихидэ обычно терпеть не мог, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. Так было и со змеей, о которой я сейчас рассказывала, и вообще о том, что делалось у него в комнате, он ученикам не сообщал. То на столе у него стоял череп, то красовались серебряные шарики или лакированные подносики; смотря по тому, что он рисовал, в комнате его появлялись самые неожиданные предметы. И куда он потом всё это деваает – никто не знал. Пожалуй, и толки о том, что ему помогает бог счастья, пошли отсюда.

Поэтому ученик, решив, что и эта невиданная птица понадобится мастеру для картины с муками ада, стоя перед мастером, почтительно спросил:

– Что вам угодно?

Но Ёсихидэ, как будто не слыша его, облизнул свои красные губы и указал подбородком на птицу.

– Ну что, совсем ручная, а?

– Как она называется? Я такой никогда не видал! – сказал ученик, с опаской поглядывая на ушастую птицу, похожую на кошку.

– Что, не видал? – усмехнулся Ёсихидэ. – По-городскому воспитан, вот беда... Эта птица называется филин, мне её несколько дней назад подарил охотник из Курамá. Только ручные среди них, пожалуй, редко попадаются.

С этими словами он медленно поднёс руку к птице, только что кончившей есть, и тихонько погладил её по спине, от хвоста вверх. И что ж? – в тот же миг птица издала пронзительный крик и вдруг как взлетит со стола, да как расправит когти, да как ринется прямо на ученика! Если бы он не успел закрыться рукавом, она, наверно, истерзала бы ему лицо. Ахнув от страха, ученик стал махать рукавом, стараясь отогнать филина, а птица, щёлкая клювом, опять на него... Тут уж ученику было не до того, что здесь сам мастер: он принялся и стоя отбиваться, и сидя её гнать, и метаться по тесной комнате то туда, то сюда, а диковинная птица всё за ним – то повыше взлетит, то пониже опустится, и так и метит всё через какую-нибудь

щёлочку прямо в глаз. При этом она страшно хлопала и шелестела крыльями, и от этого ему почему-то чудился не то запах опавших листьев, не то брызги водопада, не то прелый дух перебродивших фруктов, что обезьяны прячут в дуплах... Сказать «жутко» – мало. Сердце у него сжималось, и тусклый свет лампы казался ему лунным сиянием, а комната учителя – далёким горным ущельем, осаждённым демонами.

Однако ученика испугало не только то, что на него накинута филин. Нет, волосы у него встали дыбом, когда мастер Ёсихидэ, хладнокровно глядя на весь этот переполох, спокойно развернул бумагу, вынул кисть и стал срисовывать эту страшную картину – как женоподобного юношу терзает диковинная птица. Стоило ученику одним глазом увидеть это, как его охватил несказанный страх, и он даже подумал, уж не собирается ли мастер убить его.

11

Да и в самом деле, нельзя сказать, чтобы мастер не был на это способен. Ведь похоже было на то, что он нарочно позвал ученика, чтобы натравить на него птицу и срисовать, как он будет метаться. Поэтому, когда ученик увидел, что делает мастер, он, не помня себя, спрятал голову в рукава, закричал страшным голосом и скорчился на полу у двери в углу комнаты. Тогда Ёсихидэ как-то испуганно вскрикнул и вскочил, но тут птица зашумела крыльями ещё сильнее, и в этот миг раздался оглушительный грохот, как будто что-то упало и разбилось. Ученик, полумёртвый от страха, невольно опустив рукав, поднял голову, смотрит – в комнате совершенно темно, и только слышно, как мастер сердито кличет учеников.

Наконец издали отозвался какой-то ученик и торопливо вошёл со свечой в руке. При коптящем огоньке стало видно, что лампада опрокинута, пол и татами залиты маслом и на полу валяется филин, судорожно хлопая одним крылом. Ёсихидэ так и застыл, приподнявшись над столом, и с ошеломлённым видом бормочет что-то непонятное. И не удивительно: вокруг филина, захватив его голову и полтуловища, обвилась чёрная змея. Должно быть, когда ученик скорчился у порога, он опрокинул горшок. Змея выползла, филин хотел её клонуть – вот и началась вся эта кутерьма. Ученики переглянулись и только удивились представшему перед ними странному зрелищу, а потом молча поклонились мастеру и быстро вышли из комнаты. Что стало со змеей и птицей дальше – никто не знает.

Подобным историям не было числа. Я забыла сказать – ширмы с муками ада художнику повелели написать в начале осени, и вот до самого конца зимы ученики всё время жили под страхом этих чудачеств мастера. Но в конце зимы у мастера с работой стало что-то не ладиться, вид у него сделался ещё мрачнее, говорил он с раздражением. А картина на ширме как была набросана на три четверти, так дальше и не подвигалась. Мало того, порой художник даже замазывал то, что раньше нарисовал, и этому не видно было конца.

Но что именно у него не ладилось – никто не знал. Да вряд ли кто и старался узнать: наученные горьким опытом, ученики чувствовали себя так, словно сидели в одной клетке с тигром или волком, и только старались не попадаться мастеру на глаза.

12

За это время не случилось ничего такого, о чём стоило бы рассказывать. Вот только... у упрямого старикашки почему-то глаза стали на мокром месте; бывало, как останется один – плачет. Один ученик говорил мне – раз он зачем-то зашёл в сад и видит: мастер стоит на галерее, смотрит на весеннее небо, а глаза у него полны слёз. Ученику стало как-то неловко, он молча повернулся и торопливо ушёл. Ну, не странно ли, что этот самонадеянный человек, который для «Круговорота жизни и смерти» срисовывал трупы, валяющиеся по дорогам, плакал, как дитя, из-за того, что ему не удаётся, как хочется, написать картину.

Но пока Ёсихидэ работал как бешеный над своей картиной, будто совсем потеряв рассудок, его дочь отчего-то становилась всё печальней, и даже мы стали замечать, что она то и дело глотает слёзы. Она и всегда была задумчивая, тихая, а тут ещё и веки у неё отяжелели, глаза ввалились – совсем грустная стала. Сначала мы гадали – то ли об отце думает, то ли любовная тоска, ну а потом пошли толки, будто его светлости угодно стало склонять её к своим желаниям, и уж после этого все разговоры как ножом отрезало, точно все о ней вдруг позабыли.

Как-то ночью, уже когда пробил стража, я одна проходила по галерее. Вдруг откуда-то подбежала обезьянка Ёсихидэ и ну дёргать меня за подол юбки. Была тёплая ночь, луна слабо светила, казалось, пахнет цветущими сливами. Вот я при свете луны и увидела, – что вы думаете? – обезьянка оскалила свои белые зубы, сморщила нос и кричит, как сумасшедшая. Мне стало как-то не по себе, досада меня взяла, что она дёргает за новую юбку, и я было оттолкнула её и хотела пройти дальше, но потом передумала: ведь уже был случай, когда один слуга обидел обезьянку и ему досталось от молодого господина. К тому же видно было, что и обезьянка так поступала неспроста. Тогда я решила узнать, в чём дело, и нехотя прошла несколько шагов в ту сторону, куда она меня тащила.

Так я оказалась у того места, где галерея поворачивала за угол и откуда за изогнутыми ветвями сосен был виден пруд, чуть поблёскивавший даже в ночном полумраке. И вдруг я с испугом услышала из комнаты рядом тревожный и в то же время странный тихий шум чьего-то спора. Кругом всё замерло в полной тишине, не слышно было человеческого голоса, и только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле – не поймёшь – плескались рыбы. Поэтому, услышав эти звуки, я невольно остановилась. «Ну, если это кто-нибудь озорничает, я им покажу!» – подумала я и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери.

13

Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно её душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от неё увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав, – и в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну, тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в не освещённую луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная с тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, там вдруг упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное.

Я думаю, незачем и говорить, что это была дочь Ёсихидэ. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя непохожей. Глаза широко раскрыты. Щёки пылают румянцем. К тому же беспорядок в одежде придал ей прелесть, необычную при её всегдашнем младенческом виде. Неужто это в самом деле нежная, пугливая дочь Ёсихидэ? Я прислонилась к двери, глядя на эту красивую девическую фигуру, озарённую луной, и, указывая в ту сторону, откуда слышались чьи-то поспешно удалявшиеся шаги, спросила глазами: кто?

Но девушка, закусив губы, молча покачала головой. Какой у неё был расстроенный вид!

Тогда я нагнулась и, приблизив губы к её уху, шепнула: «Кто?» Но опять она только покачала головой и ничего не ответила. Мало того, на её длинных ресницах повисли слёзы, и она ещё крепче сжала губы.

Я от природы глупа и, кроме самых простых, всем понятных вещей, ничего не смыслю. Поэтому я просто не знала, что ещё сказать, и некоторое время стояла неподвижно, словно прислушивалась, как бьётся её сердце. Да и расспрашивать её дальше мне почему-то казалось нехорошо...

Сколько времени это продолжалось, не знаю. Наконец я задвинула дверь и, оглянувшись на девушку, которая, видно, уже немного пришла в себя, как можно мягче сказала: «Ступай к себе в комнату». Потом с какой-то тревогой в душе, как будто я увидела что-то недозволенное, и чувствуя себя неловко, – а перед кем, не знаю, – я пошла туда, куда направлялась. Но не прошла и десяти шагов, как кто-то опять робко потянул меня сзади за подол. Я испуганно оглянулась. Как вы думаете, кто это был?

Смотрю – у моих ног стоит обезьянка Ёсихидэ и, сложив руки, как человек, звеня золотым колокольчиком, учтиво мне кланяется.

14

После происшествия этого вечера минуло дней двадцать. Однажды Ёсихидэ неожиданно пришёл во дворец и попросил приёма у его светлости: художник был человек низкого звания, но давно уже пользовался благоволением его светлости. И его светлость, который не так-то легко принимал кого бы то ни было, и на этот раз охотно соизволил дать своё согласие и сейчас же позвал его к себе. Ёсихидэ был в своём всегдашнем тёмно-жёлтом каригину и помятой момиэбоси; с видом ещё более угрюмым, чем обычно, он почтительно простёрся ниц перед его светлостью и хриплым голосом проговорил:

– Дело идёт о ширме с картиной мук ада, что ваша светлость давно изволили повелеть мне написать. С великим усердием днём и ночью держал я кисть и добился успеха. Большая часть моей работы уже сделана.

– Прекрасно, я доволен.

Однако голос его светлости, изволившего произнести эти слова, звучал как-то вяло, без воодушевления.

– Нет, ничего прекрасного нет! – Ёсихидэ с несколько рассерженным видом опустил глаза. – Большая часть сделана, но одного я сейчас никак не могу нарисовать.

– Что такое?! Не можешь нарисовать?

– Да, не могу. Я никогда не могу рисовать то, чего не видел. А если нарисую, то недоволен. Выходит, всё равно что не могу.

Услышав эти слова, его светлость насмешливо улыбнулся.

– Значит, чтобы нарисовать ширмы с муками ада, тебе нужно увидеть ад?

– Да, ваша светлость изволят говорить правду. Но несколько лет назад, во время большого пожара, я собственными глазами видел такой яростный огонь, что он может сойти за пламя ада. И пламя на картине «Ёдзири-Фудо» я написал благодаря тому, что мне привелось видеть этот пожар. Ваша светлость изволите знать эту картину.

– А как же с грешниками? Да и адских слуг ты вряд ли видел?

Его светлость задавал один вопрос за другим с таким видом, как будто слова Ёсихидэ совершенно не доходили до его ушей.

– Я видел человека, закованного в цепи. Я полностью срисовал, как другого человека терзала хищная птица. Так что нельзя сказать, что я совсем не знаю мучений грешников. И адские слуги... – Ёсихидэ криво усмехнулся, – и адские слуги не раз являлись мне не то во сне, не то наяву. Черти с бычьими мордами, с конскими головами или с тремя лицами и шестью руками, бесшумно хлопая в ладоши, беззвучно разевая рты, приходят меня истязать, можно сказать, ежедневно и еженощно. Нет... что я хочу и не могу нарисовать – это не то.

Такие слова, должно быть, изумили даже его светлость. Некоторое время его светлость недовольно смотрел на Ёсихидэ, а потом, грозно сдвинув брови, отрывисто бросил:

– Говори, чего же ты не можешь нарисовать?

15

– Я хочу в самой середине ширмы нарисовать, как сверху падает карета.

Сказав это, Ёсихидэ в первый раз устремил пронизывающий взгляд в лицо его светлости. Я слышала, что, говоря о картинах, он как будто делается сумасшедшим, и вот в эту минуту от его взгляда действительно становилось жутко.

– А в карете, – продолжал художник, – разметав охваченные пламенем чёрные волосы, извивается в муках изящная придворная дама. Задыхаясь от дыма, искривив брови, она запрокинула лицо вверх. Рука срывает бамбуковую занавеску, может быть, чтобы избавиться от сыплющихся с неё дождём искр. Над нею, щёлкая клювами, кружат и выются десять, двадцать диковинных птиц... Вот эту даму в карете – её-то мне и не удаётся никак нарисовать!

– Ну и что же? – почему-то с довольным видом понукал художника его светлость.

А Ёсихидэ с трясущимися, точно от лихорадки, красными губами ещё раз, как во сне, повторил:

– Её-то мне и не удаётся нарисовать... – И вдруг резко, точно набрасываясь на кого-то, он выкрикнул: – Прошу вашу светлость – сожгите у меня на глазах карету. И кроме того, если можно...

Лицо его светлости потемнело, но вдруг он громко захохотал. И, давясь от смеха, изволил проговорить:

– Я сделаю всё, как ты просишь. А можно или нельзя – об этом рассуждать ни к чему.

Когда я услышала эти слова, сердце у меня ёкнуло, и мне вдруг стало страшно. Да и в самом деле, вид у его светлости тоже был необыкновенный – на губах пена, в бровях гроза, можно было подумать, что его заразило безумие Ёсихидэ. Его светлость замолчал было, но вдруг точно что-то прорвалось в нём, и он опять, безостановочно, громко смеясь, сказал:

– Сожгу карету! И посажу туда изящную женщину, наряженную придворной дамой. И женщина в карете, терзаемая пламенем и чёрным дымом, умрёт мучительной смертью. Тот, кто замыслил это нарисовать, действительно первый художник на свете! Хвалю. О, хвалю!

Услышав слова его светлости, Ёсихидэ сразу побледнел, только губы у него шевелились, точно он ловил ртом воздух, и вдруг, как будто всё тело его ослабело, он припал руками к полу и тихо, едва слышно, поблагодарил:

– Это великое счастье!

Должно быть, при словах его светлости перед ним воочию предстал весь ужас его замысла. За всю мою жизнь я только в этот единственный раз его пожалела.

16

Это случилось через два-три дня, ночью. Его светлость, согласно своему обещанию, изволил позвать Ёсихидэ, чтобы дать ему посмотреть своими глазами, как горит карета. Разумеется, это произошло не во дворце у реки Хорикава. Карету сожгли на загородной вилле, где раньше, кажется, изволила проживать сестра его светлости. Эту виллу в просторечии называли «Дворец Юкигэ».

Этот «Дворец Юкигэ» был давно уже необитаем, и большой заброшенный сад совсем запустел. Это место выбрали, вероятно, по предложению тех, кто видел, как здесь пустынно. Ходили всякие толки и о скончавшейся здесь сестре его светлости: например, будто и теперь в безлунные ночи по галерее таинственно, не касаясь земли, скользит её алое платье. Здесь и днём было мрачно, и выпти жутко носились при свете звёзд, точно какие-то диковинные существа.

И тогда как раз была тёмная безлунная ночь. При светильниках можно было видеть, как его светлость в придворном платье – жёлтой наоси и тёмно-лиловой хакама с гербами – сидит, скрестив ноги, у края наружной галереи на подушке, окаймлённой белой парчой. Вокруг него почтительно расположились приближённые. Среди них особенно бросался в глаза один силач, о котором рассказывали, что ещё недавно, во время войны в Митиноку, он от голода ел человеческое мясо и с тех пор мог сломать рога живому оленю. Он с внушительным видом восседал в углу, опоясанный широким поясом, держа меч рукояткой вниз. Ветер колебал пламя светильников, и человеческие фигуры то выступали на свет, то уходили в тень, и всё это было похоже на сон и почему-то наводило страх.

А в саду сверкала золотыми украшениями, как звёздами, карета, незапряжённая, с оглоблями, опущенными наклонно на подставку. Над высоким верхом её нависал густой мрак, и при взгляде на неё холод пробежал по спине, даром что уже начиналась весна. Синяя бамбуковая занавеска с узорчатой каймой была опущена донизу и скрывала то, что находилось внутри. Вокруг кареты стояли наготове слуги с горящими сосновыми факелами в руках, следя за тем, чтобы дым не относил к галерее.

Сам Ёсихидэ сидел на корточках поодаль, напротив галереи. В своём всегдашнем каригину и помятой шапке момиебоси он казался каким-то особенно маленьким, жалким, словно его давила тяжесть звёздного неба. Позади него в таком же костюме сидел, по-видимому, сопровождавший его ученик. Так как они оба были далеко и в темноте, с моего места под галереей нельзя было различить даже цвета их платья.

17

Время близилось к полуночи. Темнота, окутывавшая сад с его деревьями и ручейками, поглощала все звуки, и в тишине, когда кажется, будто слышишь своё дыхание, раздавался только лёгкий шелест ветерка; при каждом его дуновении доносился запах копти и дыма факелов. Его светлость некоторое время изволил молча смотреть на эту причудливую картину, а потом, нагнувшись вперёд, резким голосом позвал:

– Ёсихидэ!

Художник как будто что-то ответил, но до моего слуха донёсся лишь невнятный стон.

– Ёсихидэ! Сегодня я, как ты хотел, сожгу карету.

Проговорив это, его светлость бросил беглый взгляд на приближённых. В эту минуту они как будто многозначительно переглянулись и улыбнулись, а может быть, мне это показалось. Ёсихидэ поднял голову и почтительно посмотрел на галерею, но ничего не сказал.

– Смотри же хорошенько! Это карета, в которой я раньше ездил. Ты её, наверно, помнишь. Я хочу сейчас зажечь её и воочию показать тебе огненный ад. – Его светлость замолчал и опять кинул взгляд на приближённых. Потом вдруг жёстко произнёс: – Внутри, связанная, сидит преступница. И, значит, когда карету зажгут, тело негодницы сторит, кости обуглятся, и она погибнет в жестоких мучениях. Для твоей ширмы это неповторимая натура! Не упусти же, присмотришь, как запылает белоснежная кожа. Смотри хорошенько, как, воспламенившись, искрами разлетятся чёрные волосы.

Его светлость замолчал в третий раз, но потом, точно что-то вспомнив и смеясь, – на этот раз неслышно, так, что только тряслись плечи, – произнёс:

– Такого зрелища не увидишь до скончания века! Я тоже на него погляжу. Ну-ка, подымите занавески, покажите Ёсихидэ, кто сидит внутри!

Услышав повеление, один из слуг с высоко поднятым факелом подошёл к карете и, протянув руку, одним движением откинул занавеску. Пламя пылающего факела алым колеблющимся светом ярко озарило тесную внутренность кареты. Женщина, беспощадно закованная в цепи... о, кто бы мог ошибиться! На роскошное, затканное цветами вишни шёлковое пла-

тье изящно спускались блестящие чёрные волосы, красиво сверкали косо воткнутые золотые шпильки. По костюму её было не узнать, но хрупкая фигурка, белая шея и грустно-застенчивое личико... Это была дочь Ёсихидэ! Я чуть не вскрикнула.

И тогда... силач, сидевший против меня, встал и, схватившись за рукоятку меча, устремил грозный взгляд на Ёсихидэ. Испуганная, я увидела, что Ёсихидэ чуть не лишился рассудка. До сих пор он сидел на корточках внизу, но теперь вскочил и, протянув вперёд обе руки, не помня себя, хотел броситься к карете. К сожалению, он был далеко от меня и было темно, так что выражение его лица я не разглядела. Но не успела я об этом пожалеть, как бледное, обескровленное лицо Ёсихидэ, нет, не лицо, а вся его фигура, как будто подтянутая в воздух какой-то невидимой силой, прорезав тьму, вдруг отчётливо встала у меня перед глазами. Это, по слову его светлости «зажечь!», слуги бросили факелы, и, подожжённая ими, ярко вспыхнула карета, в которой сидела дочь художника.

18

Пламя быстро охватило верх кареты. Лиловые кисти, которыми были увешаны её края, заколыхались, как от ветра, снизу вырвались белые даже в темноте клубы дыма, искры посыпались таким дождём, словно не то занавеска, не то расшитые рукава одежды женщины, не то золотые украшения разом рассыпались и разлетелись кругом... Страшнее этого ничего не могло быть! А пламя, что, вытягивая огненные языки, обвивало кузов и полыхало до небес, – как его описать? Казалось, точно упало само солнце и на землю хлынул небесный огонь. В первый миг я чуть было не закричала, но теперь душа у меня отлетела, и я только в ужасе смотрела с раскрытым ртом на эту страшную картину. Но отец, Ёсихидэ...

Лица Ёсихидэ я не могу забыть до сих пор. Он хотел было, не помня себя, броситься к карете, но в тот миг, когда вспыхнуло пламя, остановился и, вытянув вперёд руки, впивающимся взглядом смотрел туда, не отрываясь, точно его притягивал дым, окутавший карету. Залитое светом морщинистое, безобразное лицо его было ясно видно всё до кончика бороды. Широко раскрытые глаза, искривлённые губы, судорожно подёргивающиеся щеки... весь ужас, отчаяние, страх, попеременно овладевавшие душой Ёсихидэ, были написаны на его лице. У вора перед казнью, у грешника с десятью грехами и пятью злодействами, представшего перед князьями преисподней, – вряд ли даже у них может быть такое страдальческое лицо! И даже силач побледнел и со страхом смотрел на его светлость.

Но его светлость, кусая губы и только иногда зловеще посмеиваясь, не сводил глаз с кареты. А там... что я увидела там – у меня не хватает духа об этом рассказывать. Это запрокинутое лицо задыхающейся от дыма женщины, эти длинные спутанные волосы, охваченные пламенем, это красивое, затканное цветами вишни платье, которое на глазах у всех превращалось в огонь... о, что это был за ужас! В особенности в ту минуту, когда порыв ночного ветра отогнал дым и в расступившемся пламени, в алом, мерцающем золотой пылью зареве стало видно, как она, кусая повязку, которой ей завязали рот, бьётся и извивается так, что чуть не лопаются цепи, – о, в эту минуту у всех, начиная с меня и кончая тем силачом, волосы стали дыбом, словно мы собственными глазами видели муки ада!

И вот опять будто порыв ночного ветра пробежал по верхушкам деревьев... Так, верно, подумали все. И едва этот звук пронёсся по тёмному небу, как вдруг что-то чёрное, не касающееся земли, не паря по воздуху, – как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решёткой прижалось к откинутым плечам девушки и испустило резкий, как треск разрываемого шёлка, протяжный, невыразимо жалобный крик... ещё раз... и ещё раз... Мы все, не помня себя, вскрикнули: на фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Хорикава обезьянка с кличкой Ёсихидэ.

19

Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу, и сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылась в клубах чёрного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском полыхала только горящая карета. Нет, может быть, верней будет сказать, не горящая карета, а огненный столб, взрывающийся прямо в звёздное небо.

Ёсихидэ как будто окаменел перед этим огненным столбом... Но странная вещь: он, который до тех пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрестив на груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием – я бы сказала, сиянием самозабвенного восторга – на морщинистом лице. Можно было подумать, что его глаза не видели, как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка.

И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел. В эту минуту в Ёсихидэ было таинственное, почти нечеловеческое величие, подобное величию разгневанного льва, каким он может присниться во сне. И даже бесчисленные ночные птицы, испуганные неожиданным пламенем и с криками носившиеся по воздуху, даже они, – а может быть, это только казалось, – не приближались к его помятой шапке. Пожалуй, даже глаза бездушных птиц видели это странное величие, окружавшее голову Ёсихидэ золотым сиянием.

Даже птицы. И тем более мы – все мы, вплоть до слуг, затаив дыхание, дрожа всем телом, полные непонятной радости, смотрели не отрываясь на Ёсихидэ, как на новоявленного будду. Пламя пылающей кареты, гремящее по всему поднебесью, и очарованный им окаменевший Ёсихидэ... О, какое величие, какой восторг! И только один – его светлость наверху, на галерее, с неузнаваемо искажённым лицом, бледный, с пеной на губах, обеими руками вцепился в свои колени, покрытые лиловым шёлком, и, как зверь с пересохшим горлом, задыхаясь, ловил ртом воздух...

20

О том, что в эту ночь его светлость во «Дворце Юкигэ» сжёг карету, как-то само собой стало известно повсюду, и пошли всякие слухи: прежде всего, почему его светлость сжёг дочь Ёсихидэ? Больше всего толковали, что это месть за отвергнутую любовь. Однако помышления его светлости клонились совсем к другому: он хотел проучить злобного художника, который ради своей картины готов был сжечь карету и убить человека.

В самом деле, я это слышала из собственных уст его светлости.

А Ёсихидэ, у которого прямо на глазах сгорела родная дочь, всё же не оставил своего твёрдого, как камень, желания написать картину, напротив, это желание как-то даже окрепло в нём. Многие поносили его, называли злодеем с лицом человека и сердцем зверя, позабывшим ради картины отцовскую любовь. Отец настоятель из Ёкогава тоже держался таких мыслей и, бывало, изволил говорить: «Сколь бы превосходен ни был он в искусстве и в умении своём, но если не понимает он законов пяти извечных отношений, быть ему в аду».

Через месяц ширма с картиной мук ада была наконец окончена. Ёсихидэ сейчас же принёс её во дворец и почтительно поверг на суд его светлости. Как раз в это время и отец настоятель был тут же, и, кинув взгляд на картину, он, конечно, был поражён страшной огненной бурей, бушевавшей в преисподней, изображённой на ширме. Раньше он всё хмуро косился на Ёсихидэ, но тут произнёс: «Превосходно!» Я и теперь ещё не могу забыть, как его светлость усмехнулся, услышав эти слова.

С тех пор никто, по крайней мере, во дворце, уже не говорил о Ёсихидэ ничего дурного. Может быть, потому, что, несмотря на прежнюю ненависть, теперь всякий при взгляде на

ширмы, подавленный странной мощью картины, как будто воочию видел перед собой великие муки огненного ада.

Но в это время Ёсихидэ уже присоединился к тем, кого нет. Закончив картину на ширмах, он в следующую же ночь повесился на балке у себя в комнате. Вероятно, потеряв единственную дочь, он уже не в силах был больше жить. Тело его до сих пор лежит погребённым в земле там, где раньше был его дом. Впрочем, простой надгробный камень, на все эти долгие годы отданный во власть дождей и ветра, так оброс мхом, что никто и не знает, чья это могила.

Июль 1918 г.

Учитель Мори

Как-то в конце года я и мой приятель – критик шли под вечер в сторону Кандабаси по аллее, обсаженной уже голыми ивами, по так называемой «дороге чиновной мелюзги». Справа и слева от нас в ещё не угасшем полусвете сумерек какие-то люди, видимо, такие же мелкие чиновники, к которым когда-то негодуяюще обратился Симадзэки Тбсон: «Держите голову выше!», понуро семенили по дороге. Понуро, вероятно, потому, что знали всю безнадёжность стараний разогнать общее уныние. Мы шли тесно, плечо к плечу, слегка ускорив шаг и не прозносая почти ни слова, пока не миновали трамвайной остановки на Отэмати. И тогда мой приятель, окинув взглядом фигуры съёжившихся от холода людей, ожидавших у красного столба очередного трамвая, неожиданно вздрогнул и как будто про себя пробормотал:

– Вспомнился Мбри-сэнсэй.

– Мори-сэнсэй? Это кто такой?

– Учитель в школе, где я учился. Я тебе ещё о нём не рассказывал?

Вместо того чтобы ответить «нет», я только нагнул край шляпы. Ниже следуют воспоминания об учителе Мори, которые по дороге рассказал мне приятель.

* * *

Это произошло лет десять назад, когда я был учеником третьего класса одной префектуральной средней школы. Во время зимних каникул от крупозного воспаления лёгких – осложнения после инфлюэнцы – скончался молодой учитель Адати-сэнсэй, преподававший в нашем классе английский язык. Это случилось совершенно внезапно, не было времени подыскать подходящего преемника, и поэтому-то, вероятно, и прибегли к крайней мере. Уроки покойного Адати-сэнсэй поручили старику Мори, который в то время служил преподавателем английского языка в какой-то частной школе.

Я впервые увидел учителя Мори в тот день, когда он приступил к занятиям. Мы были вне себя от любопытства, ожидая встречи с новым учителем, и, едва в коридоре послышались его шаги, в классе стало небывало тихо. Вот эти шаги остановились перед дверью нашего уже бессолнечного, холодного класса, дверь раскрылась и – ах, эта картина и сейчас, как живая, встаёт перед моими глазами. Когда, открыв дверь, учитель Мори вошёл, он своим маленьким ростом прежде всего напомнил нам человека-паука из праздничного балагана. Единственное, что скрашивало это впечатление, была голова учителя, почти красивая по форме, блестящая и совершенно лысая; хотя на затылке ещё сохранилось несколько полуседых волосков, она почти не отличалась от яйца страуса, как его изображают на картинках в учебнике естествознания. Наконец, незаурядную внешность учителя дополняла удивительная визитка, заношенная буквально до синевы, так что трудно было поверить, что в прошлом она была чёрной. Вдобавок у грязноватого воротника, похожий на бабочку, красовался щегольски завязанный бант. Всё это я помню с поразительной отчётливостью. Итак, едва учитель вошёл в класс, как в разных углах неожиданно послышался сдержанный смех, в чём не было ничего удивительного.

Однако учитель Мори, с хрестоматией и классным журналом в руках, совершенно невозмутимо, точно никого из учеников не замечая, поднялся на кафедру, ответил на наше приветствие и с ласковой улыбкой на своём добром, изжелта-бледном лице пронзительным голосом воскликнул:

– Господа!

За прошедшие три года никогда ещё ни один школьный учитель не обращался к нам со словом «господа». И, услышав «господа» от учителя Мори, мы, естественно, широко раскрыли

глаза от изумления. Вместе с тем мы, затаив дыхание, ждали, что за обращением «господа» последует большая речь о порученных ему занятиях или что-нибудь в таком роде.

Однако, сказав «господа», учитель Мори только обводил класс глазами и некоторое время больше не раскрывал рта. На его одутловатом лице блуждала спокойная улыбка, но углы рта нервно подёргивались, а ясные глаза, в которых было что-то коровье, беспокойно поблёскивали. И была, казалось, в этом молчании обращённая к нам немая мольба, только какая, учитель и сам не мог бы определить.

– Господа! – немного спустя повторил учитель Мори тем же тоном. На этот раз он сразу же, точно желая не дать отзвучать слову «господа», с величайшей поспешностью добавил: – Начиная с сегодняшнего дня я буду учить вас по хрестоматии.

Любопытство наше разгорелось, и, боясь произвести малейший шум, мы жадно уставились ему в лицо. Но учитель Мори окинул класс тем же умоляющим взглядом и вдруг, словно внутри у него лопнула какая-то пружина, сел. Положив рядом с уже развёрнутой хрестоматией классный журнал, он раскрыл его и стал просматривать. Незачем и говорить, как разочаровало нас такое внезапное окончание вступительной речи, вернее, разочаровало и рассмешило.

К счастью, учитель, предупреждая наш смех, оторвал свои коровьи глаза от журнала и сразу же вызвал одного из нас, прибавив к фамилии «сан». Разумеется, это был знак встать и начать переводить. Ученик поднялся и бойким тоном, свойственным токийским школьникам, стал переводить отрывок из какой-то английской книги, кажется, из «Робинзона Крузо».

Учитель Мори, время от времени поднося руку к своему лиловому банту, стал вежливо поправлять ученика – не только ошибки в переводе, но даже малейшие неточности в произношении. Произношение учителя Мори было несколько искусственное, но в общем правильное, ясное, и похоже было, что он сам в глубине души особенно им гордится.

Однако, когда ученик сел на место и переводить начал учитель, в классе стали раздаваться смешки. Дело в том, что учитель, у которого и без того было неестественное произношение, обнаружил при переводе ещё и непостижимое для японца незнание японских слов. Вероятно, знать он их знал, но не мог вспомнить в нужную минуту. Например, одну строку он переводил так: «Тогда Робинзон Крузо решил разводить. Кого же он решил разводить? Этих странных животных... их много в зоопарке... как их зовут... они любят кривляться... да вы их хорошо знаете! Такие с красной мордой... что, обезьяны? Да-да, обезьяны! Он решил разводить обезьян». Само собой разумеется, что раз так обстояло даже с обезьяной, то если дело касалось хоть сколько-нибудь затруднительного слова, он натёкался на нужный перевод с трудом, только после долгих блужданий вокруг да около. Причём каждый раз учитель Мори ужасно терялся и, беспрестанно поднося руку к горлу и чуть не обрывая свой лиловый бант, подымал смущённое лицо и кидал на нас смятённые взгляды. И тут же, обхватив руками свою лысую голову, опять опускал лицо над столом и подавленно замолкал. Тогда и без того маленькое тело учителя беспомощно съёживалось, совсем как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и нам даже представлялось, что его свешивающиеся со стула ноги болтаются в пространстве. Учеников это забавляло, и они посмеивались. Пока учитель повторял перевод, смех постепенно становился более дерзким, и наконец на передней парте раздался открытый хохот. Как, вероятно, горек был наш смех для доброго учителя Мори, – право, при одном воспоминании об этих жестоких звуках мне и теперь хочется заткнуть себе уши.

И всё же учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса. Мы разразились неудержимым хохотом, зашумели, нарочно стуча крышками парт; некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя... Ах, да и я сам, со значком старосты класса, окружённый другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя... надо ли всё

это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал наверно: действительно ли это ошибки или нет?

* * *

Это было в час отдыха, через три-четыре дня. Мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на тёплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалёком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав «раз-два!», на песок прыгнул учитель Тамба, весивший целых восемнадцать кан, который упражнялся со школьниками на железном столбе, и рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке.

– Ну, как он, ваш новый учитель Мори? – осведомился он. Тамба-сэнсэй тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи, то пользовался большой популярностью в компании героев – мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка. Поэтому в ответ на слова учителя один из героев, поигрывая боксёрской перчаткой, с несвойственной ему робостью, ответил:

– Да, уж очень... как бы это сказать, уж очень, как будто... не так уж хорошо знает.

Страхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся.

– Хуже тебя, что ли?

– Нет, по сравнению со мной-то лучше.

– Ну так чего ж тут рассуждать!

Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно стушевался. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стёклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном:

– Ведь большинство из нас, сэнсэй, намерены держать вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы.

Но Тамба-сэнсэй, по-прежнему богатырски смеясь, сказал:

– Чего там, ведь дело идёт об одном семестре, так у кого ни учишься, всё едино.

– Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только один семестр?

Этот вопрос, видимо, и учителя Тамба слегка задел за живое. Житейски опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обведя нас взглядом, искусно переменял тему:

– Видите ли, Мори-сэнсэй – очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы... Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сэнсэй сидит в самой середине, и когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: «Кондуктор, кондуктор!» Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек.

Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамба-сэнсэя мы знали многое, что приводило нас в изумление...

– И ещё Мори-сэнсэй в дождь ходит в гэта, хотя на нём европейский костюм.

– А у пояса у него всегда висит что-то завёрнутое в белый носовой платок, и подумайте – это его завтрак!

– Я видел, как Мори-сэнсэй в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые.

Окружив учителя Тамба, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо, поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши голоса стали громче, произнёс весёлым тоном, вертя в руке свою кепку:

– Да это что! Шляпа-то у него старая...

И в этот самый момент – кто бы мог подумать? – на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от нас у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке; рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа несколько первоклассников играли в лошадки; увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сэнсэй, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживлённый смех на некоторое время затих. Только Тамба-сэнсэй, видимо, был слишком смущён и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся: «Шляпа-то у него старая», – он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил своё полное тело, облачённое в жилетку, на железный столб. Затем, подтягиваясь по-рачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и, отчётливым силуэтом пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамба скрыть своё смущение всех нас рассмешила. Глядя вверх на учителя Тамба, ученики на спортивной площадке, на минуту было притихшие, громко загалдели и захлопали учителю Тамба, совсем как болельщики на футболе.

Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда, пока ещё инстинктивно, ненавидеть учителя Тамба. Это не значит, что я так уж проникся сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я наградил учителя Тамба, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить своё тогдашнее состояние духа таким образом: презирая Тамба-сэнсэя, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сэнсэя. А может быть и так, что моё презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамба – «а шляпа-то у него старая». Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествуя оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассников. Его котелок и лиловый галстук... Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы?

* * *

Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом и своими знаниями, особенно с тех пор как учитель Тамба допустил оплошность (?), понемногу крепло во всём классе. Дело было как-то утром менее чем через неделю. С прошлого вечера шёл снег, и на торчавшей перед окнами крыше здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскалённый уголь, и даже снег, оседавший на оконных стёклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещённую в хрестоматии «A Psalm of life», но никто, конечно, его серьёзно не слушал. Мало того что не слушал: мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развёрнутый журнал «Букё-сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикава Сюнро.

Так продолжалось минут двадцать-тридцать. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелло, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чём состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, всё время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы:

– Вы ещё не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжёлого... Понимаете? Много тяжёлого. Вот и у меня – двое детей. Надо отдать их в школу. А чтоб отдать, э... чтоб отдать... плата за учение? Да. Нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжёлого.

Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знающим о жизни, жаловался, может быть, и сам того не желая, разумеется, не могло нам быть понятным. Более того, видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смешок не превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно воплощая в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя сидевший рядом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчёркнуто резко встал.

– Сэнсэй, мы пришли в класс, чтобы нас учили английскому языку. А раз нас не учат, то и незачем приходить в класс. И если вы будете продолжать разговаривать, я уйду в гимнастический зал.

С этими словами он скорчил ужасную гримасу и с шумом опустился на место. Никогда не видел я такого странного лица, как у учителя Мори в эту минуту. Как поражённый громом, он с полураскрытым ртом остолбенел у печки и в течение двух-трёх минут только молча смотрел в лицо дерзкому ученику. Потом в его коровьих глазах мелькнуло то самое умоляющее выражение, и вдруг, поднеся руку к лиловому галстуку и улыбаясь так, словно он плакал, он стал повторять, несколько раз склоняя свою лысую голову:

– Я виноват. Я виноват и глубоко извиняюсь. В самом деле, вы приходите в класс учиться английскому языку. Я виноват, что не учил вас английскому языку. Я виноват и глубоко извиняюсь. Понимаете? Глубоко извиняюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.